Булгаков Михаил

Театральный роман

Предисловие

Предупреждаю читателя, что к сочинению этих записок я не имею никакого отношения и достались они мне при весьма странных и печальных обстоятельствах.

Как раз в день самоубийства Сергея Леонтьевича Максудова, которое произошло в Киеве весною прошлого года, я получил посланную самоубийцей заблаговременно толстейшую бандероль и письмо.

В бандероли оказались эти записки, а письмо было удивительного содержания:

Сергей Леонтьевич заявлял, что, уходя из жизни, он дарит мне свои записки с тем, чтобы я, единственный его друг, выправил их, подписал своим именем и выпустил в свет.

Странная, но предсмертная воля!

В течение года я наводил справки о родных или близких Сергея Леонтьевича. Тщетно! Он не солгал в предсмертном письме – никого у него не осталось на этом свете.

И я принимаю подарок.

Теперь второе: сообщаю читателю, что самоубийца никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел, оставаясь тем, чем он и был, маленьким сотрудником газеты «Вестник пароходства», единственный раз выступившим в качестве беллетриста, и то неудачно – роман Сергея Леонтьевича не был напечатан.

Таким образом, записки Максудова представляют собою плод его фантазии, и фантазии, увы, больной. Сергей Леонтьевич страдал болезнью, носящей весьма неприятное название – меланхолия.

Я, хорошо знающий театральную жизнь Москвы, принимаю на себя ручательство в том, что ни таких театров, ни таких людей, какие выведены в произведении покойного, нигде нет и не было.

И наконец, третье и последнее: моя работа над записками выразилась в том, что я озаглавил их, затем уничтожил эпиграф, показавшийся мне претенциозным, ненужным и неприятным.

Этот эпиграф был:

«Коемуждо по делом его...»

И, кроме того, расставил знаки препинания там, где их не хватало.

Стиль Сергея Леонтьевича я не трогал, хотя он явно неряшлив. Впрочем, что же требовать от человека, который через два дня после того, как поставил точку в конце записок, кинулся с Цепного моста вниз головой.

Итак...

ЧАСТЬ I

Глава 1

НАЧАЛО ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Гроза омыла Москву 29 апреля, и стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась, и жить захотелось.

В сером новом моем костюме и довольно приличном пальто я шел по одной из центральных улиц столицы, направляясь к месту, в котором никогда еще не был. Причиной моего движения было лежащее у меня в кармане внезапно полученное письмо. Вот оно:

«Глубокопочитаемый Сергей Леонтьевич!
До крайности хотел бы познакомиться с Вами, а равно также переговорить по одному таинственному делу, которое может быть очень и очень небезынтересно для Вас.
Если Вы свободны, я был бы счастлив встретиться с Вами в здании Учебной сцены Независимого Театра в среду в 4 часа.
С приветом К. Ильчин».

Письмо было написано карандашом на бумаге, в левом углу которой было напечатано:

«Ксаверий Борисович Ильчин

режиссер Учебной сцены Независимого Театра».

Имя Ильчина я видел впервые, не знал, что существует Учебная сцена. О Независимом Театре слышал, знал, что это один из выдающихся театров, но никогда в нем не был.

Письмо меня чрезвычайно заинтересовало, тем более что никаких писем я вообще тогда не получал. Я, надо сказать, маленький сотрудник газеты «Пароходство». Жил я в то время в плохой, но отдельной комнате в седьмом этаже в районе Красных ворот у Хомутовского тупика.

Итак, я шел, вдыхая освеженный воздух и размышляя о том, что гроза ударит опять, а также о том, каким образом Ксаверий Ильчин узнал о моем существовании, как он разыскал меня и какое дело может у него быть ко мне. Но сколько я ни раздумывал, последнего понять не мог и, наконец, остановился на мысли, что Ильчин хочет поменяться со мною комнатой.

Конечно, надо было Ильчину написать, чтобы он пришел ко мне, раз что у него дело ко мне, но надо сказать, что я стыдился своей комнаты, обстановки и окружающих людей. Я вообще человек странный и людей немного боюсь. Вообразите, входит Ильчин и видит диван, а обшивка распорота и торчит пружина, на лампочке над столом абажур сделан из газеты, и кошка ходит, а из кухни доносится ругань Аннушки.

Я вошел в резные чугунные ворота, увидел лавчонку, где седой человек торговал нагрудными значками и оправой для очков.

Я перепрыгнул через затихающий мутный поток и оказался перед зданием желтого цвета и подумал о том, что здание это построено давно, давно, когда ни меня, ни Ильчина еще не было на свете.

Черная доска с золотыми буквами возвещала, что здесь Учебная сцена. Я вошел, и человек маленького роста, с бороденкой, в куртке с зелеными петлицами, немедленно преградил мне дорогу.

– Вам кого, гражданин? – подозрительно спросил он и растопырил руки, как будто хотел поймать курицу.

– Мне нужно видеть режиссера Ильчина, – сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал надменно.

Человек изменился чрезвычайно, и на моих глазах. Он руки опустил по швам и улыбнулся фальшивой улыбкой.

– Ксаверия Борисыча? Сию минут-с. Пальтецо пожалуйте. Калошек нету?

Человек принял мое пальто с такой бережностью, как будто это было церковное драгоценное облачение.

Я подымался по чугунной лестнице, видел профили воинов в шлемах и грозные мечи под ними на барельефах, старинные печи-голландки с отдушниками, начищенными до золотого блеска.

Здание молчало, нигде и никого не было, и лишь с петличками человек плелся за мной, и, оборачиваясь, я видел, что он оказывает мне молчаливые знаки внимания, преданности, уважения, любви, радости по поводу того, что я пришел и что он хоть и идет сзади, но руководит мною, ведет меня туда, где находится одинокий, загадочный Ксаверий Борисович Ильчин.

И вдруг потемнело, голландки потеряли свой жирный беловатый блеск, тьма сразу обрушилась – за окнами зашумела вторая гроза. Я стукнул в дверь, вошел и в сумерках увидел наконец Ксаверия Борисовича.

– Максудов, – сказал я с достоинством.

Тут где-то далеко за Москвой молния распорола небо, осветив на мгновение фосфорическим светом Ильчина.

– Так это вы, достолюбезный Сергей Леонтьевич! – сказал, хитро улыбаясь, Ильчин.

И тут Ильчин увлек меня, обнимая за талию, на такой точно диван, как у меня в комнате, – даже пружина в нем торчала там же, где у меня, – посередине.

Вообще и по сей день я не знаю назначения той комнаты, в которой состоялось роковое свидание. Зачем диван? Какие ноты лежали растрепанные на полу в углу? Почему на окне стояли весы с чашками? Почему Ильчин ждал меня в этой комнате, а не, скажем, в соседнем зале, в котором в отдалении смутно, в сумерках грозы, рисовался рояль?

И под воркотню грома Ксаверий Борисович сказал зловеще:

– Я прочитал ваш роман.

Я вздрогнул.

Дело в том...

Глава 2
ПРИСТУП НЕВРАСТЕНИИ

Дело в том, что, служа в скромной должности читальщика в «Пароходстве», я эту свою должность ненавидел и по ночам, иногда до утренней зари, писал у себя в мансарде роман.

Он зародился однажды ночью, когда я проснулся после грустного сна. Мне снился родной город, снег, зима, гражданская война... Во сне прошла передо мною беззвучная вьюга, а затем появился старенький рояль и возле него люди, которых нет уже на свете. Во сне меня поразило мое одиночество, мне стало жаль себя. И проснулся я в слезах. Я зажег свет, пыльную лампочку, подвешенную над столом. Она осветила мою бедность – дешевенькую чернильницу, несколько книг, пачку старых газет. Бок левый болел от пружины, сердце охватывал страх. Я почувствовал, что я умру сейчас за столом, жалкий страх смерти унизил меня до того, что я простонал, оглянулся тревожно, ища помощи и защиты от смерти. И эту помощь я нашел. Тихо мяукнула кошка, которую я некогда подобрал в воротах. Зверь встревожился. Через секунду зверь уже сидел на газетах, смотрел на меня круглыми глазами, спрашивал – что случилось?

Дымчатый тощий зверь был заинтересован в том, чтобы ничего не случилось. В самом деле, кто же будет кормить эту старую кошку?

– Это приступ неврастении, – объяснил я кошке. – Она уже завелась во мне, будет развиваться и сгложет меня. Но пока еще можно жить.

Дом спал. Я глянул в окно. Ни одно в пяти этажах не светилось, я понял, что это не дом, а многоярусный корабль, который летит под неподвижным черным небом. Меня развеселила мысль о движении. Я успокоился, успокоилась и кошка, закрыла глаза.

Так я начал писать роман. Я описал сонную вьюгу. Постарался изобразить, как поблескивает под лампой с абажуром бок рояля. Это не вышло у меня. Но я стал упорен.

Днем я старался об одном – как можно меньше истратить сил на свою подневольную работу. Я делал ее механически, так, чтобы она не задевала головы. При всяком удобном случае я старался уйти со службы под предлогом болезни. Мне, конечно, не верили, и жизнь моя стала неприятной. Но я все терпел и постепенно втянулся. Подобно тому как нетерпеливый юноша ждет часа свидания, я ждал часа ночи. Проклятая квартира успокаивалась в это время. Я садился к столу... Заинтересованная кошка садилась на газеты, но роман ее интересовал чрезвычайно, и она норовила пересесть с газетного листа на лист исписанный. И я брал ее за шиворот и водворял на место.

Однажды ночью я поднял голову и удивился. Корабль мой никуда не летел, дом стоял на месте, и было совершенно светло. Лампочка ничего не освещала, была противной и назойливой. Я потушил ее, и омерзительная комната предстала предо мною в рассвете. На асфальтированном дворе воровской беззвучной походкой проходили разноцветные коты. Каждую букву на листе можно было разглядеть без всякой лампы.

– Боже! Это апрель! – воскликнул я, почему-то испугавшись, и крупно написал: «Конец».

Конец зиме, конец вьюгам, конец холоду. За зиму я растерял свои немногие знакомства, обносился очень, заболел ревматизмом и немного одичал. Но брился ежедневно.

Думая обо всем этом, я выпустил кошку во двор, затем вернулся и заснул – впервые, кажется, за всю зиму – сном без сновидений.

Роман надо долго править. Нужно перечеркивать многие места, заменять сотни слов другими. Большая, но необходимая работа!

Однако мною овладел соблазн, и, выправив первых шесть страниц, я вернулся к людям. Я созвал гостей. Среди них было двое журналистов из «Пароходства», рабочие, как и я, люди, их жены и двое литераторов. Один – молодой, поражавший меня тем, что с недосягаемой ловкостью писал рассказы, и другой – пожилой, видавший виды человек, оказавшийся при более близком знакомстве ужасною сволочью.

В один вечер я прочитал примерно четверть моего романа.

Жены до того осовели от чтения, что я стал испытывать угрызения совести. Но журналисты и литераторы оказались людьми прочными. Суждения их были братски искренни, довольно суровы и, как теперь понимаю, справедливы.

– Язык! – вскрикивал литератор (тот, который оказался сволочью), – язык, главное! Язык никуда не годится.

Он выпил большую рюмку водки, проглотил сардинку. Я налил ему вторую. Он ее выпил, закусил куском колбасы.

– Метафора! – кричал закусивший.

– Да, – вежливо подтвердил молодой литератор, – бедноват язык.

Журналисты ничего не сказали, но сочувственно кивнули, выпили. Дамы не кивали, не говорили, начисто отказались от купленного специально для них портвейна и выпили водки.

– Да как же ему не быть бедноватым, – вскрикивал пожилой, – метафора не собака, прошу это заметить! Без нее голо! Голо! Голо! Запомните это, старик!

Слово «старик» явно относилось ко мне. Я похолодел.

Расходясь, условились опять прийти ко мне. И через неделю опять были. Я прочитал вторую порцию. Вечер ознаменовался тем, что пожилой литератор выпил со мною совершенно неожиданно и против моей воли брудершафт и стал называть меня «Леонтьич».

– Язык ни к черту! Но занятно. Занятно, чтоб тебя черти разорвали (это меня)! – кричал пожилой, поедая студень, приготовленный Дусей.

На третьем вечере появился новый человек. Тоже литератор – с лицом злым и мефистофельским, косой на левый глаз, небритый. Сказал, что роман плохой, но изъявил желание слушать четвертую, и последнюю, часть. Была еще какая-то разведенная жена и один с гитарой в футляре. Я почерпнул много полезного для себя на данном вечере. Скромные мои товарищи из «Пароходства» попривыкли к разросшемуся обществу и высказали и свои мнения.

Один сказал, что семнадцатая глава растянута, другой – что характер Васеньки очерчен недостаточно выпукло. И то и другое было справедливо.

Четвертое, и последнее, чтение состоялось не у меня, а у молодого литератора, искусно сочинявшего рассказы. Здесь было уже человек двадцать, и познакомился я с бабушкой литератора, очень приятной старухой, которую портило только одно – выражение испуга, почему-то не покидавшего ее весь вечер. Кроме того, видел няньку, спавшую на сундуке.

Роман был закончен. И тут разразилась катастрофа. Все слушатели, как один, сказали, что роман мой напечатан быть не может по той причине, что его не пропустит цензура.

Я впервые услыхал это слово и тут только сообразил, что, сочиняя роман, ни разу не подумал о том, будет ли он пропущен или нет.

Начала одна дама (потом я узнал, что она тоже была разведенной женой). Сказала она так:

– Скажите, Максудов, а ваш роман пропустят?

– Ни-ни-ни! – воскликнул пожилой литератор, – ни в каком случае! Об «пропустить» не может быть и речи! Просто нет никакой надежды на это. Можешь, старик, не волноваться – не пропустят.

– Не пропустят! – хором отозвался короткий конец стола.

– Язык... – начал тот, который был братом гитариста, но пожилой его перебил:

– К чертям язык! – вскричал он, накладывая себе на тарелку салат. – Не в языке дело. Старик написал плохой, но занятный роман. В тебе, шельмец, есть наблюдательность. И откуда что берется! Вот уж никак не ожидал, но!.. содержание!

– М-да, содержание...

– Именно содержание, – кричал, беспокоя няньку, пожилой, – ты знаешь, чего требуется? Не знаешь? Ага! То-то!

Он мигал глазом, в то же время выпивал. Затем обнял меня и расцеловал, крича:

– В тебе есть что-то несимпатичное, поверь мне! Уж ты мне поверь. Но я тебя люблю. Люблю, хоть тут меня убейте! Лукав он, шельма! С подковыркой человек!.. А? Что? Вы обратили внимание на главу четвертую? Что он говорил героине? То-то!..

– Во-первых, что это за такие слова, – начал было я, испытывая мучения от его фамильярности.

– Ты меня прежде поцелуй, – кричал пожилой литератор, – не хочешь? Вот и видно сразу, какой ты товарищ! Нет, брат, не простой ты человек!

– Конечно, не простой! – поддержала его вторая разведенная жена.

– Во-первых... – начал опять я в злобе, но ровно ничего из этого не вышло.

– Ничего не во-первых! – кричал пожилой, – а сидит в тебе достоевщинка! Да-с! Ну, ладно, ты меня не любишь, Бог тебя за это простит, я на тебя не обижаюсь. Но мы тебя любим все искренне и желаем добра! – Тут он указал на брата гитариста и другого неизвестного мне

человека с багровым лицом, который, явившись, извинился за опоздание, объяснив, что был в Центральных банях. – И говорю я тебе прямо, – продолжал пожилой, – ибо я привык всем резать правду в глаза, ты, Леонтьич, с этим романом даже не суйся никуда. Наживешь ты себе неприятности, и придется нам, твоим друзьям, страдать при мысли о твоих мучениях. Ты мне верь! Я человек большого, горького опыта. Знаю жизнь! Ну вот, – крикнул он обиженно и жестом всех призвал в свидетели, – поглядите: смотрит на меня волчьими глазами. Это в благодарность за хорошее отношение! Леонтьич! – взвизгнул он так, что нянька за занавеской встала с сундука. – Пойми! Пойми ты, что не так велики уж художественные достоинства твоего романа (тут послышался с дивана мягкий гитарный аккорд), чтобы из-за него тебе идти на Голгофу. Пойми!

– Ты п-пойми, пойми, пойми! – запел приятным тенором гитарист.

– И вот тебе мой сказ, – кричал пожилой, – ежели ты меня сейчас не расцелуешь, встану, уйду, покину дружескую компанию, ибо ты меня обидел!

Испытывая невыразимую муку, я расцеловал его. Хор в это время хорошо распелся, и маслено и нежно над голосами выплывал тенор:

– Т-ты пойми, пойми...

Как кот, я выкрадывался из квартиры, держа под мышкой тяжелую рукопись.

Нянька с красными слезящимися глазами, наклонившись, пила воду из-под крана в кухне. Неизвестно почему, я протянул няньке рубль.

– Да ну вас, – злобно сказала нянька, отпихивая рубль, – четвертый час ночи! Ведь это же адские мучения.

Тут издали прорезал хор знакомый голос:

– Где же он? Бежал? Задержать его! Вы видите, товарищи...

Но обитая клеенкой дверь уже выпустила меня, и я бежал без оглядки.

Глава 3
МОЕ САМОУБИЙСТВО

– Да, это ужасно, – говорил я сам себе в своей комнате, – все ужасно. И этот салат, и нянька, и пожилой литератор, и незабвенное «пойми», вообще вся моя жизнь.

За окнами ныл осенний ветер, оторвавшийся железный лист громыхал, по стеклам полз полосами дождь. После вечера с нянькой и гитарой много случилось событий, но таких противных, что и писать о них не хочется. Прежде всего я бросился проверять роман с той точки зрения, что, мол, пропустят его или не пропустят. И ясно стало, что его не пропустят. Пожилой был совершенно прав. Об этом, как мне казалось, кричала каждая строчка романа.

Проверив роман, я последние деньги истратил на переписку двух отрывков и отнес их в редакцию одного толстого журнала. Через две недели я получил отрывки обратно. В углу рукописей было написано: «Не подходит». Отрезав ножницами для ногтей эту резолюцию, я отнес эти же отрывки в другой толстый журнал и получил через две недели их обратно с такою же точно надписью: «Не подходит».

После этого у меня умерла кошка. Она перестала есть, забилась в угол и мяукала, доводя меня до исступления. Три дня это продолжалось. На четвертый я застал ее неподвижной в углу на боку.

Я взял у дворника лопату и зарыл ее на пустыре за нашим домом. Я остался в совершенном одиночестве на земле, но, признаюсь, в глубине души обрадовался. Какой обузой для меня являлся несчастный зверь.

А потом пошли осенние дожди, у меня опять заболело плечо и левая нога в колене.

Но самое худшее было не это, а то, что роман был плох. Если же он был плох, то это означало, что жизни моей приходит конец.

Всю жизнь служить в «Пароходстве»? Да вы смеетесь!

Всякую ночь я лежал, тараща глаза в тьму кромешную, и повторял – «это ужасно». Если бы меня спросили – что вы помните о времени работы в «Пароходстве», я с чистою совестью ответил бы – ничего.

Калоши грязные у вешалки, чья-то мокрая шапка с длиннейшими ушами на вешалке – и это все.

– Это ужасно! – повторил я, слушая, как гудит ночное молчание в ушах.

Бессонница дала себя знать недели через две.

Я поехал в трамвае на Самотечную-Садовую, где проживал в одном из домов, номер которого я сохраню, конечно, в строжайшей тайне, некий человек, имевший право по роду своих занятий на ношение оружия.

При каких условиях мы познакомились, не важно.

Войдя в квартиру, я застал моего приятеля лежащим на диване. Пока он разогревал чай на примусе в кухне, я открыл левый ящик письменного его стола и выкрал оттуда браунинг, потом напился чаю и уехал к себе.

Было около девяти часов вечера. Я приехал домой. Все было как всегда. Из кухни пахло жареной бараниной, в коридоре стоял вечный, хорошо известный мне туман, в нем тускло горела под потолком лампочка. Я вошел к себе. Свет брызнул сверху, и тотчас же комната погрузилась в тьму. Перегорела лампочка.

– Все одно к одному, и все совершенно правильно, – сказал я сурово.

Я зажег керосинку на полу в углу. На листе бумаги написал: «Сим сообщаю, что браунинг № (забыл номер), скажем, такой-то, я украл у Парфена Ивановича (написал фамилию, № дома, улицу, все, как полагается)». Подписался, лег на полу у керосинки. Смертельный ужас охватил меня. Умирать страшно. Тогда я представил себе наш коридор, баранину и бабку Пелагею, пожилого и «Пароходство», повеселил себя мыслью о том, как с грохотом будут ломать дверь в мою комнату и т. д.

Я приложил дуло к виску, неверным пальцем нашарил собачку. В это же время снизу послышались очень знакомые мне звуки, сипло заиграл оркестр, и тенор в граммофоне запел:

Но мне Бог возвратит ли все?!

«Батюшки! „Фауст‟! – подумал я. – Ну, уж это, действительно, вовремя. Однако подожду выхода Мефистофеля. В последний раз. Больше никогда не услышу».

Оркестр то пропадал под полом, то появлялся, но тенор кричал все громче:

Проклинаю я жизнь, веру и все науки!

«Сейчас, сейчас, – думал я, – но как быстро он поет...»

Тенор крикнул отчаянно, затем грохнул оркестр.

Дрожащий палец лег на собачку, и в это мгновение грохот оглушил меня, сердце куда-то провалилось, мне показалось, что пламя вылетело из керосинки в потолок, я уронил револьвер.

Тут грохот повторился. Снизу донесся тяжкий басовый голос:

– Вот и я!

Я повернулся к двери.

Глава 4
ПРИ ШПАГЕ Я

В дверь стучали. Властно и повторно. Я сунул револьвер в карман брюк и слабо крикнул:

– Войдите!

Дверь распахнулась, и я окоченел на полу от ужаса. Это был он, вне всяких сомнений. В сумраке в высоте надо мною оказалось лицо с властным носом и разметанными бровями. Тени играли, и мне померещилось, что под квадратным подбородком торчит острие черной бороды. Берет был заломлен лихо на ухо. Пера, правда, не было.

Короче говоря, передо мною стоял Мефистофель. Тут я разглядел, что он в пальто и блестящих глубоких калошах, а под мышкою держит портфель. «Это естественно, – помыслил я, – не может он в ином виде пройти по Москве в двадцатом веке».

– Рудольфи, – сказал злой дух тенором, а не басом.

Он, впрочем, мог и не представляться мне. Я его узнал. У меня в комнате находился один из самых приметных людей в литературном мире того времени, редактор-издатель единственного частного журнала «Родина», Илья Иванович Рудольфи.

Я поднялся с полу.

– А нельзя ли зажечь лампу? – спросил Рудольфи.

– К сожалению, не могу этого сделать, – отозвался я, – так как лампочка перегорела, а другой у меня нет.

Злой дух, принявший личину редактора, проделал один из своих нехитрых фокусов – вынул из портфеля тут же электрическую лампочку.

– Вы всегда носите лампочки с собой? – изумился я.

– Нет, – сурово объяснил дух, – простое совпадение – я только что был в магазине.

Когда комната осветилась и Рудольфи снял пальто, я проворно убрал со стола записку с признанием в краже револьвера, а дух сделал вид, что не заметил этого.

Сели. Помолчали.

– Вы написали роман? – строго осведомился наконец Рудольфи.

– Откуда вы знаете?

– Ликоспастов сказал.

– Видите ли, – заговорил я (Ликоспастов и есть тот самый пожилой), – действительно, я... но... словом, это плохой роман.

– Так, – сказал дух и внимательно поглядел на меня.

Тут оказалось, что никакой бороды у него не было. Тени пошутили.

– Покажите, – властно сказал Рудольфи.

– Ни за что, – отозвался я.

– По-ка-жи-те, – раздельно сказал Рудольфи.

– Его цензура не пропустит...

– Покажите.

– Он, видите ли, написан от руки, а у меня скверный почерк, буква «о» выходит как простая палочка, а...

И тут я сам не заметил, как руки мои открыли ящик, где лежал злополучный роман.

– Я любой почерк разбираю, как печатное, – пояснил Рудольфи, – это профессиональное... – И тетради оказались у него в руках.

Прошел час. Я сидел у керосинки, подогревая воду, а Рудольфи читал роман. Множество мыслей вертелось у меня в голове. Во-первых, я думал о Рудольфи. Надо сказать, что Рудольфи был замечательным редактором и попасть к нему в журнал считалось приятным и почетным. Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня хотя бы даже и в виде Мефистофеля. Но, с другой стороны, роман ему мог не понравиться, а это было бы неприятно... Кроме того, я чувствовал, что самоубийство, прерванное на самом интересном

месте, теперь уж не состоится, и, следовательно, с завтрашнего же дня я опять окажусь в пучине бедствий. Кроме того, нужно было предложить чаю, а у меня не было масла. Вообще в голове была каша, в которую к тому же впутывался и зря украденный револьвер.

Рудольфи между тем глотал страницу за страницей, и я тщетно пытался узнать, какое впечатление роман производит на него. Лицо Рудольфи ровно ничего не выражало.

Когда он сделал антракт, чтобы протереть стекла очков, я к сказанным уже глупостям прибавил еще одну:

– А что говорил Ликоспастов о моем романе?

– Он говорил, что этот роман никуда не годится, – холодно ответил Рудольфи и перевернул страницу. («Вот какая сволочь Ликоспастов! Вместо того, чтобы поддержать друга и т. д.».)

В час ночи мы выпили чаю, а в два Рудольфи дочитал последнюю страницу.

Я заерзал на диване.

– Так, – сказал Рудольфи.

Помолчали.

– Толстому подражаете, – сказал Рудольфи.

Я рассердился.

– Кому именно из Толстых? – спросил я. – Их было много... Алексею ли Константиновичу, известному писателю, Петру ли Андреевичу, поймавшему за границей царевича Алексея, нумизмату ли Ивану Ивановичу или Льву Николаичу?

– Вы где учились?

Тут приходится открыть маленькую тайну. Дело в том, что я окончил в университете два факультета и скрывал это.

– Я окончил церковноприходскую школу, – сказал я, кашлянув.

– Вот как! – сказал Рудольфи, и улыбка тронула слегка его губы.

Потом он спросил:

– Сколько раз в неделю вы бреетесь?

– Семь раз.

– Извините за нескромность, – продолжал Рудольфи, – а как вы делаете, что у вас такой пробор?

– Бриолином смазываю голову. А позвольте спросить, почему вас это...

– Бога ради, – ответил Рудольфи, – я просто так, – и добавил: – Интересно. Человек окончил приходскую школу, бреется каждый день и лежит на полу возле керосинки. Вы – трудный человек! – Затем он резко изменил голос и заговорил сурово: – Ваш роман Главлит не пропустит, и никто его не напечатает. Его не примут ни в «Зорях», ни в «Рассвете».

– Я это знаю, – сказал я твердо.

– И тем не менее я этот роман у вас беру, – сказал строго Рудольфи (сердце мое сделало перебой), – и заплачу вам (тут он назвал чудовищно маленькую сумму, забыл какую) за лист. Завтра он будет перепечатан на машинке.

– В нем четыреста страниц! – воскликнул я хрипло.

– Я разниму его на части, – железным голосом говорил Рудольфи, – и двенадцать машинисток в бюро перепечатают его завтра к вечеру.

Тут я перестал бунтовать и решил подчиниться Рудольфи.

– Переписка на ваш счет, – продолжал Рудольфи, а я только кивал головой, как фигурка, – затем: надо будет вычеркнуть три слова – на странице первой, семьдесят первой и триста второй.

Я заглянул в тетради и увидел, что первое слово было «Апокалипсис», второе – «архангелы» и третье – «дьявол». Я их покорно вычеркнул; правда, мне хотелось сказать, что это наивные вычеркивания, но я поглядел на Рудольфи и замолчал.

– Затем, – продолжал Рудольфи, – вы поедете со мною в Главлит. Причем я вас покорнейше прошу не произносить там ни одного слова.

Все-таки я обиделся.

– Если вы находите, что я могу сказать что-нибудь... – начал я мямлить с достоинством, – то я могу и дома посидеть...

Рудольфи никакого внимания не обратил на эту попытку возмущения и продолжал:

– Нет, вы не можете дома посидеть, а поедете со мною.

– Чего же я там буду делать?

– Вы будете сидеть на стуле, – командовал Рудольфи, – и на все, что вам будут говорить, будете отвечать вежливой улыбкой...

– Но...

– А разговаривать буду я! – закончил Рудольфи.

Затем он попросил чистый лист бумаги, карандашом написал на нем что-то, что содержало в себе, как помню, несколько пунктов, сам это подписал, заставил подписать и меня, затем вынул из кармана две хрустящих денежных бумажки, тетради мои положил в портфель, и его не стало в комнате.

Я не спал всю ночь, ходил по комнате, смотрел бумажки на свет, пил холодный чай и представлял себе прилавки книжных магазинов. Множество народу входило в магазин, спрашивало книжку журнала. В домах сидели под лампами люди, читали книжку, некоторые вслух.

Боже мой! Как это глупо, как это глупо! Но я был тогда сравнительно молод, не следует смеяться надо мною.

Глава 5
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СОБЫТИЯ

Украсть не трудно. На место положить – вот в чем штука. Имея в кармане браунинг в кобуре, я приехал к моему другу.

Сердце мое екнуло, когда еще сквозь дверь я услыхал его крики:

– Мамаша! А еще кто?..

Глухо слышался голос старушки, его матери:

– Водопроводчик...

– Что случилось? – спросил я, снимая пальто.

Друг оглянулся и шепнул:

– Револьвер сперли сегодня... Вот гады...

– Ай-яй-яй, – сказал я.

Старушка мамаша носилась по всей маленькой квартире, ползала по полу в коридоре, заглядывая в какие-то корзины.

– Мамаша! Это глупо! Перестаньте по полу елозить!

– Сегодня? – спросил я радостно. (Он ошибся, револьвер пропал вчера, но ему почему-то казалось, что он его вчера ночью еще видел в столе.)

– А кто у вас был?

– Водопроводчик, – кричал мой друг.

– Парфеша! Не входил он в кабинет, – робко говорила мамаша, – прямо к крану прошел...

– Ах, мамаша! Ах, мамаша!

– Больше никого не было? А вчера кто был?

– И вчера никого не было! Только вы заходили, и больше никого.

И друг мой вдруг выпучил на меня глаза.

– Позвольте, – сказал я с достоинством.

– Ах! И до чего же вы обидчивые, эти интеллигенты! – вскричал друг. – Не думаю же я, что это вы сперли.

И тут же понесся смотреть, к какому крану проходил водопроводчик. При этом мамаша изображала водопроводчика и даже подражала его интонациям.

– Вот так вошел, – говорила старушка, – сказал «здравствуйте»... шапку повесил – и пошел...

– Куда пошел?..

Старушка пошла, подражая водопроводчику, в кухню, друг мой устремился за нею, я сделал одно ложное движение, якобы за ними, тотчас свернул в кабинет, положил браунинг не в левый, а в правый ящик стола и отправился в кухню.

– Где вы его держите? – спрашивал я участливо в кабинете.

Друг открыл левый ящик и показал пустое место.

– Не понимаю, – сказал я, пожимая плечами, – действительно, загадочная история, – да, ясно, что украли.

Мой друг окончательно расстроился.

– А все-таки я думаю, что его не украли, – сказал я через некоторое время, – ведь если никого не было, кто же может его украсть?

Друг сорвался с места и осмотрел карманы в старой шинели в передней. Там ничего не нашлось.

– По-видимому, украли, – сказал я задумчиво, – придется в милицию заявлять.

Друг что-то простонал.

– Куда-нибудь в другое место вы не могли его засунуть?

– Я его всегда кладу в одно и то же место! – нервничая, воскликнул мой приятель и в доказательство открыл средний ящик стола. Потом что-то пошептал губами, открыл левый и даже руку в него засунул, потом под ним нижний, а затем уже с проклятием открыл правый.

– Вот штука! – хрипел он, глядя на меня. – Вот штука... Мамаша! Нашелся!

Он был необыкновенно счастлив в этот день и оставил меня обедать.

Ликвидировав висевший на моей совести вопрос с револьвером, я сделал шаг, который можно назвать рискованным, – бросил службу в «Вестнике пароходства».

Я переходил в другой мир, бывал у Рудольфи и стал встречать писателей, из которых некоторые имели уже крупную известность. Но все это теперь как-то смылось в моей памяти, не оставив ничего, кроме скуки, в ней, все это я позабыл. И лишь не могу забыть одной вещи: это знакомства моего с издателем Рудольфи – Макаром Рвацким.

Дело в том, что у Рудольфи было все: и ум, и сметка, и даже некоторая эрудиция, у него только одного не было – денег. А между тем азартная любовь Рудольфи к своему делу толкала его на то, чтобы во что бы то ни стало издавать толстый журнал. Без этого он умер бы, я полагаю.

В силу этой причины я однажды оказался в странном помещении на одном из бульваров Москвы. Здесь помещался издатель Рвацкий, как пояснил мне Рудольфи. Поразило меня то, что вывеска на входе в помещение возвещала, что здесь – «Бюро фотографических принадлежностей».

Еще страннее было то, что никаких фотографических принадлежностей, за исключением нескольких отрезов ситцу и сукна, в газетную бумагу завернутых, не было в помещении.

Все оно кишело людьми. Все они были в пальто и шляпах, оживленно разговаривали между собою. Я услыхал мельком два слова – «проволока» и «банки», страшно удивился, но и меня встретили удивленными взорами. Я сказал, что я к Рвацкому по делу. Меня немедленно и очень почтительно проводили за фанерную перегородку, где удивление мое возросло до наивысшей степени.

На письменном столе, за которым помещался Рвацкий, стояли нагроможденные одна на другую коробки с кильками.

Но сам Рвацкий не понравился мне еще более, нежели кильки в его издательстве. Рвацкий был человеком сухим, худым, маленького роста, одетым для моего глаза, привыкшего к блузам в «Пароходстве», крайне странно. На нем была визитка, полосатые брюки, он был при грязном крахмальном воротничке, а воротничок при зеленом галстуке, а в галстуке этом была рубиновая булавка.

Рвацкий меня изумил, а я Рвацкого испугал или, вернее, расстроил, когда я объяснил, что пришел подписать договор с ним на печатание моего романа в издаваемом им журнале. Но тем не менее он быстро пришел в себя, взял принесенные мною два экземпляра договора, вынул самопишущее перо, подписал, не читая почти, оба и подпихнул мне оба экземпляра вместе с самопишущим пером. Я уже вооружился последним, как вдруг глянул на коробки с надписью «Килька отборная астраханская» и сетью, возле которой был рыболов с засученными штанами, и какая-то щемящая мысль вторглась в меня.

– Деньги мне уплатят сейчас же, как написано в договоре? – спросил я.

Рвацкий превратился весь в улыбку сладости, вежливости. Он кашлянул и сказал:

– Через две недели ровно, сейчас маленькая заминка...

Я положил перо.

– Или через неделю, – поспешно сказал Рвацкий, – почему же вы не подписываете?

– Так мы уже тогда заодно и подпишем договор, – сказал я, – когда заминка уляжется.

Рвацкий горько улыбнулся, качая головой.

– Вы мне не доверяете? – спросил он.

– Помилуйте!

– Наконец, в среду! – сказал Рвацкий. – Если вы имеете нужду в деньгах.

– К сожалению, не могу.

– Важно подписать договор, – рассудительно сказал Рвацкий, – а деньги даже во вторник можно.

– К сожалению, не могу. – И тут я отодвинул договоры и застегнул пуговицу.

– Одну минуточку, ах, какой вы! – воскликнул Рвацкий. – А говорят еще, что писатели непрактичный народ.

И тут вдруг тоска изобразилась на его бледном лице, он встревоженно оглянулся, но вбежал какой-то молодой человек и подал Рвацкому картонный билетик, завернутый в белую бумажку. «Это билет с плацкартой, – подумал я, – он куда-то едет...»

Краска проступила на щеках издателя, глаза его сверкнули, чего я никак не предполагал, что это может быть.

Говоря коротко, Рвацкий выдал мне ту сумму, которая была указана в договоре, а на остальные суммы написал мне векселя. Я в первый и в последний раз в жизни держал в руках

векселя, выданные мне. (За вексельного бумагою куда-то бегали, причем я дожидался, сидя на каких-то ящиках, распространявших сильнейший запах сапожной кожи.) Мне очень польстило, что у меня векселя.

Дальше размыло в памяти месяца два. Помню только, что я у Рудольфи возмущался тем, что он послал меня к такому, как Рвацкий, что не может быть издатель с мутными глазами и рубиновой булавкой. Помню также, как екнуло мое сердце, когда Рудольфи сказал: «А покажите-ка векселя», – и как оно стало на место, когда он сказал сквозь зубы: «Все в порядке». Кроме того, никогда не забуду, как я приехал получать по первому из этих векселей. Началось с того, что вывеска «Бюро фотографических принадлежностей» оказалась несуществующей и была заменена вывескою «Бюро медицинских банок».

Я вошел и сказал:

– Мне нужно видеть Макара Борисовича Рвацкого.

Отлично помню, как подогнулись мои ноги, когда мне ответили, что М.Б. Рвацкий... за границей.

Ах, сердце, мое сердце!.. Но, впрочем, теперь это не важно.

Кратко опять-таки: за фанерной перегородкою был брат Рвацкого. (Рвацкий уехал за границу через десять минут после подписания договора со мною – помните плацкарту?) Полная противоположность по внешности своему брату, Алоизий Рвацкий, атлетически сложенный человек с тяжкими глазами, по векселю уплатил.

По второму через месяц я, проклиная жизнь, получил уже в каком-то официальном учреждении, куда векселя идут в протест (нотариальная контора, что ли, или банк, где были окошечки с сетками).

К третьему векселю я поумнел, пришел к второму Рвацкому за две недели до срока и сказал, что устал.

Мрачный брат Рвацкого впервые обратил на меня свои глаза и буркнул:

– Понимаю. А зачем вам ждать сроков? Можете и сейчас получить.

Вместо восьмисот рублей я получил четыреста и с великим облегчением отдал Рвацкому две продолговатые бумажки.

Ах, Рудольфи, Рудольфи! Спасибо вам и за Макара, и за Алоизия. Впрочем, не будем забегать вперед, дальше будет еще хуже.

Впрочем, пальто я себе купил.

И наконец настал день, когда в мороз лютый я пришел в это же самое помещение. Это был вечер. Стосвечовая лампочка резала глаза нестерпимо. Под лампочкой за фанерной перегородкой не было никого из Рвацких (нужно ли говорить, что и второй уехал). Под этой лампочкой сидел в пальто Рудольфи, а перед ним на столе, и на полу, и под столом лежали серо-голубые книжки только что отпечатанного номера журнала. О, миг! Теперь-то мне это смешно, но тогда я был моложе.

У Рудольфи сияли глаза. Дело свое, надо сказать, он любил. Он был настоящий редактор.

Существуют такие молодые люди, и вы их, конечно, встречали в Москве. Эти молодые люди бывают в редакциях журналов в момент выхода номера, но они не писатели. Они видны бывают на всех генеральных репетициях, во всех театрах, хотя они и не актеры, они бывают на выставках художников, но сами не пишут. Оперных примадонн они называют не по фамилиям, а по имени и отчеству, по имени же и отчеству называют лиц, занимающих ответственные должности, хотя с ними лично и не знакомы. В Большом театре на премьере они, протискиваясь между седьмым и восьмым рядами, машут приветливо ручкой кому-то в бельэтаже, в «Метрополе» они сидят за столиком у самого фонтана, и разноцветные лампочки освещают их штаны с раструбами.

Один из них сидел перед Рудольфи.

– Ну-с, как же вам понравилась очередная книжка? – спрашивал Рудольфи у молодого человека.

– Илья Иваныч! – прочувственно воскликнул молодой человек, вертя в руках книжку, – очаровательная книжка, но, Илья Иваныч, позвольте вам сказать со всею откровенностью, мы, ваши читатели, не понимаем, как вы с вашим вкусом могли поместить эту вещь Максудова.

«Вот так номер!» – подумал я, холодея.

Но Рудольфи заговорщически подмигнул мне и спросил:

– А что такое?

– Помилуйте! – восклицал молодой человек. – Ведь, во-первых... вы позволите мне быть откровенным, Илья Иванович?

– Пожалуйста, пожалуйста, – сказал, сияя, Рудольфи.

– Во-первых, это элементарно неграмотно... Я берусь вам подчеркнуть двадцать мест, где просто грубые синтаксические ошибки.

«Надо будет перечитать сейчас же», – подумал я, замирая.

– Ну, а стиль! – кричал молодой человек. – Боже мой, какой ужасный стиль! Кроме того, все это эклектично, подражательно, беззубо как-то. Дешевая философия, скольжение по поверхности... Плохо, плоско, Илья Иванович! Кроме того, он подражает...

– Кому? – спросил Рудольфи.

– Аверченко! – вскричал молодой человек, вертя и поворачивая книжку и пальцем раздирая слипшиеся страницы. – Самому обыкновенному Аверченко! Да вот я вам покажу. – Тут молодой человек начал рыться в книжке, причем я, как гусь, вытянув шею, следил за его руками. Но он, к сожалению, не нашел того, что искал.

«Найду дома», – думал я.

– Найду дома, – посулил молодой человек, – книжка испорчена, ей-богу, Илья Иванович. Он же просто неграмотен! Кто он такой? Где он учился?

– Он говорит, что кончил церковноприходскую школу, – сверкая глазами, ответил Рудольфи, – а впрочем, спросите у него сами. Прошу вас, познакомьтесь.

Зеленая гниловатая плесень выступила на щеках молодого человека, а глаза его наполнились непередаваемым ужасом.

Я раскланялся с молодым человеком, он оскалил зубы, страдание исказило его приятные черты. Он охнул и выхватил из кармана носовой платок, и тут я увидел, что по щеке у него побежала кровь. Я остолбенел.

– Что с вами? – вскричал Рудольфи.

– Гвоздь, – ответил молодой человек.

– Ну, я пошел, – сказал я суконным языком, стараясь не глядеть на молодого человека.

– Возьмите книги.

Я взял пачку авторских экземпляров, пожал руку Рудольфи, откланялся молодому человеку, причем тот, не переставая прижимать платок к щеке, уронил на пол книжку и палку, задом тронулся к выходу, ударился локтем об стол и вышел.

Снег шел крупный, елочный снег.

Не стоит описывать, как я просидел всю ночь над книгой, перечитывая роман в разных местах. Достойно внимания, что временами роман нравился, а затем тотчас же казался отвратительным. К утру я был от него в ужасе.

События следующего дня мне памятны. Утром у меня был удачно обокраденный друг, которому я подарил один экземпляр романа, а вечером я отправился на вечеринку, организованную группой писателей по поводу важнейшего события – благополучного

прибытия из-за границы знаменитого литератора Измаила Александровича Бондаревского. Торжество умножалось и тем, что одновременно чествовать предполагалось и другого знаменитого литератора – Егора Агапёнова, вернувшегося из своей поездки в Китай.

И одевался, и шел я на вечер в великом возбуждении. Как-никак это был тот новый для меня мир, в который я стремился. Этот мир должен был открыться передо мною, и притом с самой наилучшей стороны – на вечеринке должны были быть первейшие представители литературы, весь ее цвет.

И точно, когда я вошел в квартиру, я испытал радостный подъем.

Первым, кто бросился мне в глаза, был тот самый вчерашний молодой человек, пропоровший себе ухо гвоздем. Я узнал его, несмотря на то что он был весь забинтован свежими марлевыми бинтами.

Мне он обрадовался, как родному, и долго жал руки, присовокупляя, что всю ночь читал он мой роман, причем он ему начал нравиться.

– Я тоже, – сказал я ему, – читал всю ночь, но он мне перестал нравиться.

Мы тепло разговорились, при этом молодой человек сообщил мне, что будет заливная осетрина, вообще был весел и возбужден.

Я оглянулся – новый мир впускал меня к себе, и этот мир мне понравился. Квартира была громадная, стол был накрыт на двадцать пять примерно кувертов; хрусталь играл огнями; даже в черной икре сверкали искры; зеленые свежие огурцы порождали глуповато-веселые мысли о каких-то пикниках, почему-то о славе и прочем. Тут же меня познакомили с известнейшим автором Лесосековым и с Тунским – новеллистом. Дам было мало, но все же были.

Ликоспастов был тише воды, ниже травы, и тут же как-то я ощутил, что, пожалуй, он будет рангом пониже прочих, что с начинающим даже русокудрым Лесосековым его уже сравнивать нельзя, не говоря уже, конечно, об Агапёнове или Измаиле Александровиче.

Ликоспастов пробрался ко мне, мы поздоровались.

– Ну, что ж, – вздохнув почему-то, сказал Ликоспастов, – поздравляю. Поздравляю от души. И прямо тебе скажу – ловок ты, брат. Руку бы дал на отсечение, что роман твой напечатать нельзя, просто невозможно. Как ты Рудольфи обработал, ума не приложу. Но предсказываю тебе, что ты далеко пойдешь! А поглядеть на тебя – тихоня... Но в тихом...

Тут поздравления Ликоспастова были прерваны громкими звонками с парадного, и исполнявший обязанности хозяина критик Конкин (дело происходило в его квартире) вскричал: «Он!»

И верно: это оказался Измаил Александрович. В передней послышался звучный голос, потом звуки лобызаний, и в столовую вошел маленького роста гражданин в целлулоидовом воротнике, в куртке. Человек был сконфужен, тих, вежлив и в руках держал, почему-то не оставив ее в передней, фуражку с бархатным околышем и пыльным круглым следом от гражданской кокарды.

«Позвольте, тут какая-то путаница...» – подумал я, до того не вязался вид вошедшего человека со здоровым хохотом и словом «расстегаи», которое донеслось из передней.

Путаница, оказалось, и была. Следом за вошедшим, нежно обнимая за талию, Конкин вовлек в столовую высокого и плотного красавца со светлой вьющейся и холеной бородой, в расчесанных кудрях.

Присутствовавший здесь беллетрист Фиалков, о котором мне Рудольфи шепнул, что он шибко идет в гору, был одет прекрасно (вообще все были одеты хорошо), но костюм Фиалкова и сравнивать нельзя было с одеждой Измаила Александровича. Добротнейшей материи и сшитый первоклассным парижским портным коричневый костюм облекал стройную, но несколько полноватую фигуру Измаила Александровича. Белье крахмальное, лакированные

туфли, аметистовые запонки. Чист, бел, свеж, весел, прост был Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взором пиршественный стол:

– Га! Черти!

И тут порхнул и смешок и аплодисмент и послышались поцелуи. Кой с кем Измаил Александрович здоровался за руку, кой с кем целовался накрест, перед кой-кем шутливо отворачивался, закрывая лицо белою ладонью, как будто слеп от солнца, и при этом фыркал.

Меня, вероятно принимая за кого-то другого, расцеловал трижды, причем от Измаила Александровича запахло коньяком, одеколоном и сигарой.

– Баклажанов! – вскричал Измаил Александрович, указывая на первого вошедшего. – Рекомендую. Баклажанов, друг мой.

Баклажанов улыбнулся мученической улыбкой и, от смущения в чужом, большом обществе, надел свою фуражку на шоколадную статую девицы, державшей в руках электрическую лампочку.

– Я его с собой притащил! – продолжал Измаил Александрович. – Нечего ему дома сидеть. Рекомендую – чудный малый и величайший эрудит. И, вспомните мое слово, всех нас он за пояс заткнет не позже чем через год! Зачем же ты, черт, на нее фуражку надел? Баклажанов?

Баклажанов сгорел со стыда и ткнулся было здороваться, но у него ничего не вышло, потому что вскипел водоворот усаживаний, и уж между размещающимися потекла вспухшая лакированная кулебяка.

Пир пошел как-то сразу дружно, весело, бодро.

– Расстегаи подвели! – слышал я голос Измаила Александровича. – Зачем же мы с тобою, Баклажанов, расстегаи ели?

Звон хрусталя ласкал слух, показалось, что в люстре прибавили свету. Все взоры после третьей рюмки обратились к Измаилу Александровичу. Послышались просьбы: «Про Париж! Про Париж!»

– Ну, были, например, на автомобильной выставке, – рассказывал Измаил Александрович, – открытие, все честь по чести, министр, журналисты, речи... между журналистов стоит этот жулик, Кондюков Сашка... Ну, француз, конечно, речь говорит... на скорую руку спичишко. Шампанское, натурально. Только смотрю – Кондюков надувает щеки, и не успели мы мигнуть, как его вырвало! Дамы тут, министр! А он, сукин сын!.. И что ему померещилось, до сих пор не могу понять! Скандалище колоссальный. Министр, конечно, делает вид, что ничего не замечает, но как тут не заметишь... Фрак, шапокляк, штаны тысячу франков стоят. Все вдребезги... Ну, вывели его, напоили водой, увезли...

– Еще! Еще! – кричали за столом.

В это время уже горничная в белом фартуке обносила осетриной. Звенело сильней, уже слышались голоса. Но мне мучительно хотелось знать про Париж, и я в звоне, стуке и восклицаниях ухом ловил рассказы Измаила Александровича.

– Баклажанов! Почему ты не ешь?..

– Дальше! Просим! – кричал молодой человек, аплодируя...

– Дальше что было?

– Ну, а дальше сталкиваются оба эти мошенника на Шан-Зелизе, нос к носу... Табло! И не успел он оглянуться, как этот прохвост Катькин возьми и плюнь ему прямо в рыло!..

– Ай-яй-яй!

– Да-с... Баклажанов! Не спи ты, черт этакий!.. Нуте-с, и от волнения, он, неврастеник ж-жуткий, промахнись, и попал даме, совершенно неизвестной даме, прямо на шляпку...

– На Шан-Зелизе?!

– Подумаешь! Там это просто! А у ней одна шляпка три тысячи франков! Ну конечно, господин какой-то его палкой по роже... Скандалище жуткий!

Тут хлопнуло в углу, и желтое абрау засветилось передо мною в узком бокале... Помнится, пили за здоровье Измаила Александровича.

И опять я слушал про Париж.

– Он, не смущаясь, говорит ему: «Сколько?» А тот... ж-жулик! (Измаил Александрович даже зажмурился.) «Восемь, говорит, тысяч!» А тот ему в ответ: «Получите!» И вынимает руку и тут же показывает ему шиш!

– В Гранд-Опера?!

– Подумаешь! Плевал он на Гранд-Опера! Тут двое министров во втором ряду.

– Ну, а тот? Тот-то что? – хохоча, спрашивал кто-то.

– По матери, конечно!

– Батюшки!

– Ну, вывели обоих, там это просто...

Пир пошел шире. Уже плыл над столом, наслаивался дым. Уже под ногой я ощутил что-то мягкое и скользкое и, наклонившись, увидел, что это кусок лососины, и как он попал под ноги – неизвестно. Хохот заглушал слова Измаила Александровича, и поразительные дальнейшие парижские рассказы мне остались неизвестными.

Я не успел как следует задуматься над странностями заграничной жизни, как звонок возвестил прибытие Егора Агапёнова. Тут уж было сумбурновато. Из соседней комнаты слышалось пианино, тихо кто-то наигрывал фокстрот, и я видел, как топтался молодой человек, держа, прижав к себе, даму.

Егор Агапёнов вошел бодро, вошел размашисто, и следом за ним вошел китаец, маленький, сухой, желтоватый, в очках с черным ободком. За китайцем дама в желтом платье и крепкий бородатый мужчина по имени Василий Петрович.

– Измашь тут? – воскликнул Егор и устремился к Измаилу Александровичу.

Тот затрясся от радостного смеха, воскликнул:

– Га! Егор! – и погрузил свою бороду в плечо Агапёнова. Китаец ласково улыбался всем, но никакого звука не произносил, как и в дальнейшем не произнес.

– Познакомьтесь с моим другом китайцем! – кричал Егор, отцеловавшись с Измаилом Александровичем.

Но дальше стало шумно, путано. Помнится, танцевали в комнате на ковре, отчего было неудобно. Кофе в чашке стоял на письменном столе. Василий Петрович пил коньяк. Видел я спящего Баклажанова в кресле. Накурено было крепко. И как-то почувствовалось, что пора, собственно, и отправиться домой.

И совершенно неожиданно у меня произошел разговор с Агапёновым. Я заметил, что, как только дело пошло к трем часам ночи, он стал проявлять признаки какого-то беспокойства. И кое с кем начинал о чем-то заговаривать, причем, сколько я понимаю, в тумане и дыму получал твердые отказы. Я, погрузившись в кресло у письменного стола, пил кофе, не понимая, почему мне щемило душу и почему Париж вдруг представился каким-то скучным, так что даже и побывать в нем вдруг перестало хотеться.

И тут надо мною склонилось широкое лицо с круглейшими очками. Это был Агапёнов.

– Максудов? – спросил он.

– Да.

– Слышал, слышал, – сказал Агапёнов. – Рудольфи говорил. Вы, говорят, роман напечатали?

– Да.

– Здоровый роман, говорят. Ух, Максудов! – вдруг зашептал Агапёнов, подмигивая. – Обратите внимание на этот персонаж... Видите?

– Это – с бородой?

– Он, он, деверь мой.

– Писатель? – спросил я, изучая Василия Петровича, который, улыбаясь тревожно-ласковой улыбкой, пил коньяк.

– Нет! Кооператор из Тетюшей... Максудов, не теряйте времени, – шептал Агапёнов, – жалеть будете. Такой тип поразительный! Вам в ваших работах он необходим. Вы из него в одну ночь можете настричь десяток рассказов и каждый выгодно продадите. Ихтиозавр, бронзовый век! Истории рассказывает потрясающе! Вы представляете, чего он там в своих Тетюшах насмотрелся. Ловите его, а то другие перехватят и изгадят.

Василий Петрович, почувствовав, что речь идет о нем, улыбнулся еще тревожнее и выпил.

– Да самое лучшее... Идея! – хрипел Агапёнов. – Я вас сейчас познакомлю... Вы холостой? – тревожно спросил Агапёнов.

– Холостой... – сказал я, выпучив глаза на Агапёнова.

Радость выразилась на лице Агапёнова.

– Чудесно! Вы познакомитесь, и ведите вы его к себе ночевать! Идея! У вас диван какой-нибудь есть? На диване он заснет, ничего ему не сделается. А через два дня он уедет.

Вследствие ошеломления я не нашелся ничего ответить, кроме одного:

– У меня один диван...

– Широкий? – спросил тревожно Агапёнов.

Но тут я уже немного пришел в себя. И очень вовремя, потому что Василий Петрович уж начал ерзать с явной готовностью познакомиться, а Агапёнов начал меня тянуть за руку.

– Простите, – сказал я, – к сожалению, ни в каком случае не могу его взять. Я живу в проходной комнате в чужой квартире, а за ширмой спят дети хозяйки (я хотел добавить еще, что у них скарлатина, потом решил, что это лишнее нагромождение лжи, и все-таки добавил)... и у них скарлатина.

– Василий! – вскричал Агапёнов. – У тебя была скарлатина?

Сколько раз в жизни мне приходилось слышать слово «интеллигент» по своему адресу. Не спорю, я, может быть, и заслужил это печальное название. Но тут я все же собрал силы и, не успел Василий Петрович с молящей улыбкой ответить: «Бы...» – как я твердо сказал Агапёнову:

– Категорически отказываюсь взять его. Не могу.

– Как-нибудь, – тихо шепнул Агапёнов, – а?

– Не могу.

Агапёнов повесил голову, пожевал губами.

– Но, позвольте, он же к вам приехал? Где же он остановился?

– Да у меня и остановился, черт его возьми, – сказал тоскливо Агапёнов.

– Ну, и...

– Да теща ко мне с сестрой приехала сегодня, поймите, милый человек, а тут китаец еще... И носит их черт, – внезапно добавил Агапёнов, – этих деверей. Сидел бы в Тетюшах...

И тут Агапёнов ушел от меня.

Смутная тревога овладела мною почему-то, и, не прощаясь ни с кем, кроме Конкина, я покинул квартиру.

Глава 6
КАТАСТРОФА

Да, эта глава будет, пожалуй, самой короткой. На рассвете я почувствовал, что по спине моей прошел озноб. Потом он повторился. Я скорчился и влез под одеяло с головой, стало легче, но только на минуту. Вдруг сделалось жарко. Потом опять холодно, и до того, что зубы застучали. У меня был термометр. Он показал 38,8. Стало быть, я заболел.

Совсем под утро я попытался заснуть и до сих пор помню это утро. Только что закрою глаза, как ко мне наклоняется лицо в очках и бубнит: «Возьми», а я повторяю только одно: «Нет, не возьму». Василий Петрович не то снился, не то действительно поместился в моей комнате, причем ужас заключался в том, что он наливал коньяк себе, а пил его я. Париж стал совершенно невыносим. Гранд-Опера, и в ней кто-то показывает кукиш. Сложит, покажет и спрячет опять. Сложит, покажет.

– Я хочу сказать правду, – бормотал я, когда день уже разлился за драной нестираной шторой, – полную правду. Я вчера видел новый мир, и этот мир мне был противен. Я в него не пойду. Он – чужой мир. Отвратительный мир! Надо держать это в полном секрете, тсс!

Губы мои высохли как-то необыкновенно быстро. Я, неизвестно зачем, положил рядом с собою книжку журнала; с целью читать, надо полагать. Но ничего не прочел. Хотел поставить еще раз термометр, но не поставил. Термометр лежит рядом на стуле, а мне за ним почему-то надо идти куда-то. Потом стал совсем забываться. Лицо моего сослуживца из «Пароходства» я помню, а лицо доктора расплылось. Словом, это был грипп. Несколько дней я проплавал в жару, а потом температура упала. Я перестал видеть Шан-Зелизе, и никто не плевал на шляпку, и Париж не растягивался на сто верст.

Мне захотелось есть, и добрая соседка, жена мастера, сварила мне бульон. Я его пил из чашки с отбитой ручкой, пытался читать свое собственное сочинение, но читал строк по десяти и оставлял это занятие.

На двенадцатый примерно день я был здоров. Меня удивило то, что Рудольфи не навестил меня, хотя я и написал ему записку, чтобы он пришел ко мне.

На двенадцатый день я вышел из дому, пошел в «Бюро медицинских банок» и увидел на нем большой замок. Тогда я сел в трамвай и долго ехал, держась за раму от слабости и дыша на замерзшее стекло. Приехал туда, где жил Рудольфи. Позвонил. Не открывают. Еще раз позвонил. Открыл старичок и поглядел на меня с отвращением.

– Рудольфи дома?

Старичок посмотрел на носки своих ночных туфель и ответил:

– Нету его.

На мои вопросы – куда он девался, когда будет, и даже на нелепый вопрос, почему замок висит на «Бюро», старичок как-то мялся, осведомился, кто я таков. Я объяснил все, даже про роман рассказал. Тогда старичок сказал:

– Он уехал в Америку неделю тому назад.

Можете убить меня, если я знаю, куда девался Рудольфи и почему.

Куда девался журнал, что произошло в «Бюро», какая Америка, как он уехал, не знаю и никогда не узнаю. Кто таков старичок, черт его знает!

Под влиянием слабости после гриппа в истощенном моем мозгу мелькнула даже мысль, что не видел ли я во сне все – то есть и самого Рудольфи, и напечатанный роман, и Шан-Зелизе, и Василия Петровича, и ухо, распоротое гвоздем. Но по приезде домой я нашел у себя девять голубых книжек. Был напечатан роман. Был. Вот он.

Из напечатавшихся в книжке я, к сожалению, не знал никого. Так что ни у кого не мог и справиться о Рудольфи.

Съездив еще раз в «Бюро», я убедился, что никакого бюро там уже нет, а есть кафе со столиками, покрытыми клеенкой.

Нет, вы объясните мне, куда девались несколько сот книжек? Где они?

Такого загадочного случая, как с этим романом и Рудольфи, никогда в моей жизни не было.

Глава 7

Самым разумным в таких странных обстоятельствах представлялось просто все это забыть и перестать думать о Рудольфи и об исчезновении вместе с ним и номера журнала. Я так и поступил.

Однако это не избавляло меня от жестокой необходимости жить дальше. Я проверил свое прошлое.

– Итак, – говорил я самому себе, во время мартовской вьюги сидя у керосинки, – я побывал в следующих мирах.

Мир первый: университетская лаборатория, в коей я помню вытяжной шкаф и колбы на штативах. Этот мир я покинул во время гражданской войны. Не станем спорить о том, поступил ли я легкомысленно или нет. После невероятных приключений (хотя, впрочем, почему невероятных? – кто же не переживал невероятных приключений во время гражданской войны?), словом, после этого я оказался в «Пароходстве». В силу какой причины? Не будем таиться. Я лелеял мысль стать писателем. Ну и что же? Я покинул и мир «Пароходства». И, собственно говоря, открылся передо мною мир, в который я стремился, и вот такая оказия, что он мне показался сразу же нестерпимым. Как представлю себе Париж, так какая-то судорога проходит во мне и не могу влезть в дверь. А все этот чертов Василий Петрович! И сидел бы в Тетюшах! И как ни талантлив Измаил Александрович, но уж очень противно в Париже. Так, стало быть, остался я в какой-то пустоте? Именно так.

Ну что же, сиди и сочиняй второй роман, раз ты взялся за это дело, а на вечеринки можешь и не ходить. Дело не в вечеринках, а в том-то вся и соль, что я решительно не знал, об чем этот второй роман должен был быть? Что поведать человечеству? Вот в чем вся беда.

Кстати, о романе. Глянем правде в глаза. Его никто не читал. Не мог читать, ибо исчез Рудольфи, явно не успев распространить книжку. А мой друг, которому я презентовал экземпляр, и он не читал. Уверяю вас.

Да, кстати: я уверен, что, прочитав эти строки, многие назовут меня интеллигентом и неврастеником. Насчет первого не спорю, а насчет второго предупреждаю серьезным образом, что это заблуждение. У меня и тени неврастении нет. И вообще, раньше чем этим словом швыряться, надо бы узнать поточнее, что такое неврастения, да рассказы Измаила Александровича послушать. Но это в сторону. Нужно было прежде всего жить, а для этого нужно было деньги зарабатывать.

Итак, прекратив мартовскую болтовню, я пошел на заработки. Тут меня жизнь взяла за шиворот и опять привела в «Пароходство», как блудного сына. Я сказал секретарю, что роман написал. Его это не тронуло. Одним словом, я условился, что буду писать четыре очерка в месяц. Получая соответствующее законам вознаграждение за это. Таким образом, некоторая материальная база намечалась. План заключался в том, чтобы сваливать как можно скорее с плеч эти очерки и по ночам опять-таки писать.

Первая часть была мною выполнена, а со второй получилось черт знает что. Прежде всего я отправился в книжные магазины и купил произведения современников. Мне хотелось узнать, о чем они пишут, как они пишут, в чем волшебный секрет этого ремесла.

При покупке я не щадил своих средств, покупая все самое лучшее, что только оказалось на рынке. В первую голову я приобрел произведения Измаила Александровича, книжку Агапёнова, два романа Лесосекова, два сборника рассказов Флавиана Фиалкова и многое еще. Первым долгом я, конечно, бросился на Измаила Александровича. Неприятное предчувствие кольнуло меня, лишь только я глянул на обложку. Книжка называлась «Парижские кусочки». Все они мне оказались знакомыми от первого кусочка до последнего. Я узнал и проклятого Кондюкова, которого стошнило на автомобильной выставке, и тех двух, которые подрались на

Шан-Зелизе (один был, оказывается, Помадкин, другой Шерстяников), и скандалиста, показавшего кукиш в Гранд-Опера. Измаил Александрович писал с необыкновенным блеском, надо отдать ему справедливость, и поселил у меня чувство какого-то ужаса в отношении Парижа.

Агапёнов, оказывается, успел выпустить книжку рассказов за время, которое прошло после вечеринки, – «Тетюшанская гомоза». Нетрудно было догадаться, что Василия Петровича не удалось устроить ночевать нигде, ночевал он у Агапёнова, тому самому пришлось использовать истории бездомного деверя. Все было понятно, за исключением совершенно непонятного слова «гомоза».

Дважды я принимался читать роман Лесосекова «Лебеди», два раза дочитывал до сорок пятой страницы и начинал читать с начала, потому что забывал, что было в начале. Это меня серьезно испугало. Что-то неладное творилось у меня в голове – я перестал или еще не умел понимать серьезные вещи. И я, отложив Лесосекова, принялся за Флавиана и даже Ликоспастова и в последнем налетел на сюрприз. Именно, читая рассказ, в котором был описан некий журналист (рассказ назывался «Жилец по ордеру»), я узнал продранный диван с выскочившей наружу пружиной, промокашку на столе... Иначе говоря, в рассказе был описан... я!

Брюки те же самые, втянутая в плечи голова и волчьи глаза... Ну, я, одним словом! Но, клянусь всем, что было у меня дорогого в жизни, я описан несправедливо. Я вовсе не хитрый, не жадный, не лукавый, не лживый, не карьерист и чепухи такой, как в этом рассказе, никогда не произносил! Невыразима была моя грусть по прочтении ликоспастовского рассказа, и решил я все же взглянуть со стороны на себя построже, и за это решение очень обязан Ликоспастову.

Однако грусть и размышления мои по поводу моего несовершенства ничего, собственно, не стоили по сравнению с ужасным сознанием, что я ничего не извлек из книжек самых наилучших писателей, путей, так сказать, не обнаружил, огней впереди не увидал, и все мне опостылело. И, как червь, начала сосать мне сердце прескверная мысль, что никакого, собственно, писателя из меня не выйдет. И тут же столкнулся с еще более ужасной мыслью о том, что... а ну, как выйдет такой, как Ликоспастов? Осмелев, скажу и больше: а вдруг даже такой, как Агапёнов? Гомоза? Что такое гомоза? И зачем кафры? Все это чепуха, уверяю вас!

Вне очерков я много проводил времени на диване, читая разные книжки, которые, по мере приобретения, укладывал на хромоногой этажерке и на столе и попросту в углу. Со своим собственным произведением я поступил так: уложил оставшиеся девять экземпляров и рукопись в ящики стола, запер их на ключ и решил никогда, никогда в жизни к ним не возвращаться.

Вьюга разбудила меня однажды. Вьюжный был март и бушевал, хотя и шел уже к концу. И опять, как тогда, я проснулся в слезах! Какая слабость, ах, какая слабость! И опять те же люди, и опять дальний город, и бок рояля, и выстрелы, и еще какой-то поверженный на снегу.

Родились эти люди в снах, вышли из снов и прочнейшим образом обосновались в моей келье. Ясно было, что с ними так не разойтись. Но что же делать с ними?

Первое время я просто беседовал с ними, и все-таки книжку романа мне пришлось извлечь из ящика. Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. Ах, какая это была увлекательная игра, и не раз я жалел, что кошки уже нет на свете и некому показать, как на странице в маленькой комнатке шевелятся люди. Я уверен, что зверь вытянул бы лапу и стал бы скрести страницу. Воображаю, какое любопытство горело бы в кошачьем глазу, как лапа царапала бы буквы!

С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля. Правда, если бы кому-нибудь я сказал бы об этом, надо полагать, мне посоветовали бы обратиться к врачу. Сказали бы, что играют внизу под полом, и даже сказали бы, возможно, что именно играют. Но я не обратил бы внимания на эти слова. Нет, нет! Играют на рояле у меня на столе, здесь происходит тихий перезвон клавишей. Но этого мало. Когда затихает дом и внизу ровно ни на чем не играют, я слышу, как сквозь вьюгу прорывается и тоскливая и злобная гармоника, а к гармонике присоединяются и сердитые и печальные голоса и ноют, ноют. О нет, это не под полом! Зачем же гаснет комнатка, зачем на страницах наступает зимняя ночь над Днепром, зачем выступают лошадиные морды, а над ними лица людей в папахах. И вижу я острые шашки, и слышу я душу терзающий свист. Вон бежит, задыхаясь, человечек. Сквозь табачный дым я слежу за ним, я напрягаю зрение и вижу: сверкнуло сзади человечка, выстрел, он, охнув, падает навзничь, как будто острым ножом его спереди ударили в сердце. Он неподвижно лежит, и от головы растекается черная лужица. А в высоте луна, а вдали цепочкой грустные, красноватые огоньки в селении.

Всю жизнь можно было бы играть в эту игру, глядеть в страницу... А как бы фиксировать эти фигурки? Так, чтобы они не ушли уже более никуда?

И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же ее описать?

А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцвечивается. Она мне нравится? Чрезвычайно. Стало быть, я и пишу: картинка первая. Я вижу вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу – напевает. Пишу – напевает.

Да это, оказывается, прелестная игра! Не надо ходить ни на вечеринки, ни в театр ходить не нужно.

Ночи три я провозился, играя с первой картинкой, и к концу этой ночи я понял, что сочиняю пьесу.

В апреле месяце, когда исчез снег со двора, первая картинка была разработана. Герои мои и двигались, и ходили, и говорили.

В конце апреля и пришло письмо Ильчина.

И теперь, когда уже известна читателю история романа, я могу продолжать повествование с того момента, когда я встретился с Ильчиным.

Глава 8
ЗОЛОТОЙ КОНЬ

– Да, – хитро и таинственно прищуриваясь, повторил Ильчин, – я ваш роман прочитал.

Во все глаза я глядел на собеседника своего, то трепетно озаряемого, то потухающего. За окнами хлестала вода. Впервые в жизни я видел перед собою читателя.

– А как же вы его достали? Видите ли... Книжка... – я намекал на роман.

– Вы Гришу Айвазовского знаете?

– Нет.

Ильчин поднял брови, он изумился.

– Гриша заведует литературной частью в Когорте Дружных.

– А что это за Когорта?

Ильчин настолько изумился, что дождался молнии, чтобы рассмотреть меня.

Полоснуло и потухло, и Ильчин продолжал:

– Когорта – это театр. Вы никогда в нем не были?

– Я ни в каких театрах не был. Я, видите ли, недавно в Москве.

Сила грозы упала, и стал возвращаться день. Я видел, что возбуждаю в Ильчине веселое изумление.

– Гриша был в восторге, – почему-то еще таинственнее говорил Ильчин, – и дал мне книжку. Прекрасный роман.

Не зная, как поступать в таких случаях, я отвесил поклон Ильчину.

– И знаете ли, какая мысль пришла мне в голову, – зашептал Ильчин, от таинственности прищуривая левый глаз, – из этого романа вам нужно сделать пьесу!

«Перст судьбы!» – подумал я и сказал:

– Вы знаете, я уже начал ее писать.

Ильчин изумился до того, что правою рукою стал чесать левое ухо и еще сильнее прищурился. Он даже, кажется, не поверил сначала такому совпадению, но справился с собою.

– Чудесно, чудесно! Вы непременно продолжайте, не останавливаясь ни на секунду. Вы Мишу Панина знаете?

– Нет.

– Наш заведующий литературной частью.

– Ага.

Дальше Ильчин сказал, что, ввиду того что в журнале напечатана только треть романа, а знать продолжение до зарезу необходимо, мне следует прочитать по рукописи это продолжение ему и Мише, а также Евлампии Петровне, и, наученный опытом, уже не спросил, знаю ли я ее, а объяснил сам, что это женщина-режиссер.

Величайшее волнение возбуждали во мне все проекты Ильчина.

А тот шептал:

– Вы напишете пьесу, а мы ее и поставим. Вот будет замечательно! А?

Грудь моя волновалась, я был пьян дневной грозою, какими-то предчувствиями. А Ильчин говорил:

– И знаете ли, чем черт не шутит, вдруг старика удастся обломать... А?

Узнав, что я и старика не знаю, он даже головою покачал, и в глазах у него написалось: «Вот дитя природы!»

– Иван Васильевич! – шепнул он. – Иван Васильевич! Как? Вы не знаете его? Не слыхали, что он стоит во главе Независимого? – И добавил: – Ну и ну!..

В голове у меня все вертелось, и главным образом от того, что окружающий мир меня волновал чем-то. Как будто в давних сновидениях я видел его уже, и вот я оказался в нем.

Мы с Ильчиным вышли из комнаты, прошли зал с камином, и до пьяной радости мне понравился этот зал. Небо расчистилось, и вдруг луч лег на паркет. А потом мы прошли мимо странных дверей, и, видя мою заинтересованность, Ильчин соблазнительно поманил меня пальцем внутрь. Шаги пропали, настало беззвучие и полная подземная тьма. Спасительная рука моего спутника вытащила меня, в продолговатом разрезе посветлело искусственно – это спутник мой раздвинул другие портьеры, и мы оказались в маленьком зрительном зале мест на триста. Под потолком тускло горело две лампы в люстре, занавес был открыт, и сцена зияла. Она была торжественна, загадочна и пуста. Углы ее заливал мрак, а в середине, поблескивая чуть-чуть, высился золотой, поднявшийся на дыбы, конь.

– У нас выходной, – шептал торжественно, как в храме, Ильчин, потом он оказался у другого уха и продолжал: – У молодежи пьеска разойдется, лучше требовать нельзя. Вы не смотрите, что зал кажется маленьким, на самом деле он большой, а сборы здесь, между прочим, полные. А если старика удастся переупрямить, то, чего доброго, не пошла бы она и на большую сцену! А?

«Он соблазняет меня, – думал я, и сердце замирало и вздрагивало от предчувствий, – но почему он совсем не то говорит? Право, не важны эти большие сборы, а важен только этот золотой конь, и чрезвычайно интересен загадочнейший старик, которого нужно уламывать и переупрямить для того, чтобы пьеса пошла...»

– Этот мир мой... – шепнул я, не заметив, что начинаю говорить вслух.

– А?

– Нет, я так.

Расстались мы с Ильчиным, причем я унес от него записочку:

«Досточтимый Петр Петрович!
Будьте добры обязательно устроить автору «Черного снега» место на «Фаворита».
Ваш душевно
Ильчин».

– Это называется контрамарка, – объяснил мне Ильчин, и я с волнением покинул здание, унося первую в жизни своей контрамарку.

С этого дня жизнь моя резко изменилась. Я днем лихорадочно работал над пьесой, причем в дневном свете картинки из страниц уже не появлялись, коробка раздвинулась до размеров учебной сцены.

Вечером я с нетерпением ждал свидания с золотым конем.

Я не могу сказать, хороша ли была пьеса «Фаворит» или дурна. Да это меня и не интересовало. Но была какая-то необъяснимая прелесть в этом представлении. Лишь только в малюсеньком зале потухал свет, за сценой где-то начиналась музыка и в коробке выходили одетые в костюмы XVIII века. Золотой конь стоял сбоку сцены, действующие лица иногда выходили и садились у копыт коня или вели страстные разговоры у его морды, а я наслаждался.

Горькие чувства охватывали меня, когда кончалось представление и нужно было уходить на улицу. Мне очень хотелось надеть такой же точно кафтан, как и на актерах, и принять участие в действии. Например, казалось, что было бы очень хорошо, если бы выйти внезапно сбоку, наклеив себе колоссальный курносый пьяный нос, в табачном кафтане, с тростью и табакеркою в руке и сказать очень смешное, и это смешное я выдумывал, сидя в тесном ряду зрителей. Но произносили другие смешное, сочиненное другим, и зал по временам смеялся. Ни до этого, ни после этого никогда в жизни не было ничего у меня такого, что вызывало бы наслаждение больше этого.

На «Фаворите» я, вызывая изумление мрачного и замкнутого Петра Петровича, сидящего в окошечке с надписью «Администратор Учебной сцены», побывал три раза, причем в первый раз во 2-м ряду, во второй – в 6-м, а в третий – в 11-м. А Ильчин исправно продолжал снабжать меня записочками, и я посмотрел еще одну пьесу, где выходили в испанских костюмах и где один актер играл слугу так смешно и великолепно, что у меня от наслаждения выступал на лбу мелкий пот.

Затем настал май, и как-то вечером соединились наконец и Евлампия Петровна, и Миша, и Ильчин, и я. Мы попали в узенькую комнату в этом же здании Учебной сцены. Окно уже было раскрыто, и город давал знать о себе гудками.

Евлампия Петровна оказалась царственной дамой с царственным лицом и бриллиантовыми серьгами в ушах, а Миша поразил меня своим смехом. Он начинал смеяться внезапно – «ах, ах, ах», – причем тогда все останавливали разговор и ждали. Когда же отсмеивался, то вдруг старел, умолкал.

«Какие траурные глаза у него, – я начинал по своей болезненной привычке фантазировать. – Он убил некогда друга на дуэли в Пятигорске, – думал я, – и теперь этот друг приходит к нему по ночам, кивает при луне у окна головою». Мне Миша очень понравился.

И Миша, и Ильчин, и Евлампия Петровна показали свое необыкновенное терпение, и в один присест я прочитал им ту треть романа, которая следовала за напечатанною. Вдруг, почувствовав угрызения совести, я остановился, сказав, что дальше и так все понятно. Было поздно.

Между слушателями произошел разговор, и, хотя они говорили по-русски, я ничего не понял, настолько он был загадочен.

Миша имел обыкновение, обсуждая что-либо, бегать по комнате, иногда внезапно останавливаясь.

– Осип Иваныч? – тихо спросил Ильчин, щурясь.

– Ни-ни, – отозвался Миша и вдруг затрясся в хохоте. Отхохотавшись, он опять вспомнил про застреленного и постарел.

– Вообще старейшины... – начал Ильчин.

– Не думаю, – буркнул Миша.

Дальше слышалось: «Да ведь на одних Галиных да на подсобляющем не очень-то...» (Это – Евлампия Петровна.)

– Простите, – заговорил Миша резко и стал рубить рукой, – я давно утверждаю, что пора поставить этот вопрос на театре!

– А как же Сивцев Вражек? (Евлампия Петровна.)

– Да и Индия, тоже неизвестно, как отнесется к этому дельцу, – добавил Ильчин.

– На кругу бы сразу все поставить, – тихо шептал Ильчин, – они так с музычкой и поедут.

– Сивцев! – многозначительно сказала Евлампия Петровна.

Тут на лице моем выразилось, очевидно, полное отчаяние, потому что слушатели оставили свой непонятный разговор и обратились ко мне.

– Мы все убедительно просим, Сергей Леонтьевич, – сказал Миша, – чтобы пьеса была готова не позже августа... Нам очень, очень нужно, чтобы к началу сезона ее уже можно было прочесть.

Я не помню, чем кончился май. Стерся в памяти и июнь, но помню июль. Настала необыкновенная жара. Я сидел голый, завернувшись в простыню, и сочинял пьесу. Чем дальше, тем труднее она становилась. Коробочка моя давно уже не звучала, роман потух и лежал мертвый, как будто и нелюбимый. Цветные фигурки не шевелились на столе, никто не приходил на помощь. Перед глазами теперь вставала коробка Учебной сцены. Герои разрослись и вошли в нее складно и очень бодро, но, по-видимому, им так понравилось на ней рядом с золотым конем, что уходить они никуда не собирались, и события развивались, а конца им не виделось. Потом жара упала, стеклянный кувшин, из которого я пил кипяченую воду, опустел, на дне плавала муха. Пошел дождь, настал август. Тут я получил письмо от Миши Панина. Он спрашивал о пьесе.

Я набрался храбрости и ночью прекратил течение событий. В пьесе было тринадцать картин.

Глава 9
НАЧАЛОСЬ

Надо мною я видел, поднимая голову, матовый шар, полный света, сбоку серебряный колоссальных размеров венок в стеклянном шкафу с лентами и надписью: «Любимому Независимому Театру от московских присяжных...» (одно слово загнулось), перед собою я видел улыбающиеся актерские лица, по большей части меняющиеся.

Издалека доносилась тишина, а изредка какое-то дружное тоскливое пение, потом какой-то шум, как в бане. Там шел спектакль, пока я читал свою пьесу.

Лоб я постоянно вытирал платком и видел перед собою коренастого плотного человека, гладко выбритого, с густыми волосами на голове. Он стоял в дверях и не спускал с меня глаз, как будто что-то обдумывал.

Он только и запомнился, все остальное прыгало, светилось и менялось; неизменен был, кроме того, венок. Он резче всего помнится. Таково было чтение, но уже не на Учебной сцене, а на Главной.

Уходя ночью, я, обернувшись, посмотрел, где я был. В центре города, там, где рядом с театром гастрономический магазин, а напротив «Бандажи и корсеты», стояло ничем не примечательное здание, похожее на черепаху и с матовыми, кубической формы, фонарями.

На следующий день это здание предстало передо мною в осенних сумерках внутри. Я, помнится, шел по мягкому ковру солдатского сукна вокруг чего-то, что, как мне казалось, было внутренней стеной зрительного зала, и очень много народу мимо меня сновало. Начинался сезон.

И я шел по беззвучному сукну и пришел в кабинет, чрезвычайно приятно обставленный, где застал пожилого, приятного же человека с бритым лицом и веселыми глазами. Это и был заведующий приемом пьес Антон Антонович Княжевич. Над письменным столом Княжевича висела яркая радостная картинка... помнится, занавес на ней был с пунцовыми кистями, а за занавесом бледно-зеленый веселый сад...

– А, товарищ Максудов, – приветливо вскричал Княжевич, склоняя голову набок, – а мы уж вас поджидаем, поджидаем! Прошу покорнейше, садитесь, садитесь!

И я сел в приятнейшее кожаное кресло.

– Слышал, слышал, слышал вашу пиэсу, – говорил, улыбаясь, Княжевич и почему-то развел руками, – прекрасная пьеса! Правда, таких пьес мы никогда не ставили, ну, а эту вдруг возьмем да и поставим, да и поставим...

Чем больше говорил Княжевич, тем веселее становились его глаза.

– ...и разбогатеете до ужаса, – продолжал Княжевич, – в каретах будете ездить! Да-с, в каретах!

«Однако, – думалось мне, – он сложный человек, этот Княжевич... очень сложный...»

И чем больше веселился Княжевич, я становился, к удивлению моему, все напряженнее.

Поговорив еще со мною, Княжевич позвонил.

– Мы вас сейчас отправим к Гавриилу Степановичу, прямо ему, так сказать, в руки передадим, в руки! Чудеснейший человек Гавриил-то наш Степанович... Мухи не обидит! Мухи!

Но вошедший на звонок человек в зеленых петлицах выразился так:

– Гавриил Степанович еще не прибыли в театр.

– А не прибыл, так прибудет, – радостно, как и раньше, отозвался Княжевич, – не пройдет и получасу, как прибудет! А вы, пока суд да дело, погуляйте по театру, полюбуйтесь, повеселитесь, попейте чаю в буфете да бутербродов-то, бутербродов-то не жалейте, не обижайте нашего буфетчика Ермолая Ивановича!

И я пошел гулять по театру. Хождение по сукну доставляло мне физическое удовольствие, и еще радовала таинственная полутьма повсюду и тишина.

В полутьме я сделал еще одно знакомство. Человек моих примерно лет, худой, высокий, подошел ко мне и назвал себя:

– Петр Бомбардов.

Бомбардов был актером Независимого Театра, сказал, что слышал мою пьесу и что, по его мнению, это хорошая пьеса.

С первого же момента я почему-то подружился с Бомбардовым. Он произвел на меня впечатление очень умного, наблюдательного человека.

– Не хотите ли посмотреть нашу галерею портретов в фойе? – спросил вежливо Бомбардов.

Я поблагодарил его за предложение, и мы вошли в громадное фойе, также устланное серым сукном. Простенки фойе в несколько рядов были увешаны портретами и увеличенными фотографиями в золоченых овальных рамах.

Из первой рамы на нас глянула писанная маслом женщина лет тридцати, с экстатическими глазами, во взбитой крутой челке, декольтированная.

– Сара Бернар, – объяснил Бомбардов.

Рядом с прославленной актрисой в раме помещалось фотографическое изображение человека с усами.

– Севастьянов Андрей Пахомович, заведующий осветительными приборами театра, – вежливо сказал Бомбардов.

Соседа Севастьянова я узнал сам, это был Мольер.

За Мольером помещалась дама в крошечной, набок надетой шляпке блюдечком, в косынке, застегнутой стрелой на груди, и с кружевным платочком, который дама держала в руке, оттопырив мизинец.

– Людмила Сильвестровна Пряхина, артистка нашего театра, – сказал Бомбардов, причем какой-то огонек сверкнул у него в глазах. Но, покосившись на меня, Бомбардов ничего не прибавил.

– Виноват, а это кто же? – удивился я, глядя на жестокое лицо человека с лавровыми листьями в кудрявой голове. Человек был в тоге и в руке держал пятиструнную лиру.

– Император Нерон, – сказал Бомбардов, и опять глаз его сверкнул и погас.

– А почему?..

– По приказу Ивана Васильевича, – сказал Бомбардов, сохраняя неподвижность лица. – Нерон был певец и артист.

– Так, так, так.

За Нероном помещался Грибоедов, за Грибоедовым – Шекспир в отложном крахмальном воротничке, за ним – неизвестный, оказавшийся Плисовым, заведующим поворотным кругом в театре в течение сорока лет.

Далее шли Живокини, Гольдони, Бомарше, Стасов, Щепкин. А потом из рамы глянул на меня лихо заломленный уланский кивер, под ним барское лицо, нафиксатуаренные усы, генеральские кавалерийские эполеты, красный лацкан, лядунка.

– Покойный генерал-майор Клавдий Александрович Комаровский-Эшаппар де Бионкур, командир лейб-гвардии уланского его величества полка. – И тут же, видя мой интерес, Бомбардов рассказал: – История его совершенно необыкновенная. Как-то приехал он на два дня из Питера в Москву, пообедал у Тестова, а вечером попал в наш театр. Ну, натурально, сел в первом ряду, смотрит... Не помню, какую пьесу играли, но очевидцы рассказывали, что во время картины, где был изображен лес, с генералом что-то сделалось. Лес в закате, птицы перед сном засвистели, за сценой благовест к вечерне в селенье дальнем... Смотрят, генерал сидит и батистовым платком утирает глаза.

После спектакля пошел в кабинет к Аристарху Платоновичу. Капельдинер потом рассказывал, что, входя в кабинет, генерал сказал глухо и страшно: «Научите, что делать?!»

Ну, тут они затворились с Аристархом Платоновичем...

– Виноват, а кто это Аристарх Платонович? – спросил я.

Бомбардов удивленно поглядел на меня, но стер удивление с лица тотчас же и объяснил:

– Во главе нашего театра стоят двое директоров – Иван Васильевич и Аристарх Платонович. Вы, простите, не москвич?

– Нет, я – нет... Продолжайте, пожалуйста.

– ...заперлись, и о чем говорили, неизвестно, но известно, что ночью же генерал послал в Петербург телеграмму такого содержания: «Петербург. Его величеству. Почувствовав призвание быть актером вашего величества Независимого Театра, всеподданнейше прошу об отставке. Комаровский-Бионкур».

Я ахнул и спросил:

– И что же было?!

– Компот такой получился, что просто прелесть, – ответил Бомбардов. – Александру Третьему телеграмму подали в два часа ночи. Специально разбудили. Тот в одном белье, борода, крестик... говорит: «Давайте сюда! Что там с моим Эшаппаром?» Прочитал и две минуты не мог ничего сказать, только побагровел и сопел, потом говорит: «Дайте карандаш!» – и тут же начертал резолюцию на телеграмме: «Чтоб духу его в Петербурге не было. Александр». И лег спать.

А генерал на другой день в визитке, в брюках пришел прямо на репетицию.

Резолюцию покрыли лаком, а после революции телеграмму передали в театр. Вы можете видеть ее в нашем музее редкостей.

– Какие же роли он играл? – спросил я.

– Царей, полководцев и камердинеров в богатых домах, – ответил Бомбардов, – у нас, знаете ли, все больше насчет Островского, купцы там... А потом долго играли «Власть тьмы»... Ну, натурально, манеры у нас, сами понимаете... А он все насквозь знал, даме ли платок, налить ли вина, по-французски говорил идеально, лучше французов... И была у него еще страсть: до ужаса любил изображать птиц за сценой. Когда шли пьесы, где действие весной в деревне, он всегда сидел в кулисах на стремянке и свистел соловьем. Вот какая странная история!

– Нет! Я не согласен с вами! – воскликнул я горячо. – У вас так хорошо в театре, что, будь я на месте генерала, я поступил бы точно так же...

– Каратыгин, Тальони, – перечислял Бомбардов, ведя меня от портрета к портрету, – Екатерина Вторая, Карузо, Феофан Прокопович, Игорь Северянин, Баттистини, Еврипид, заведующая женским пошивочным цехом Бобылева.

Но тут беззвучной рысью вбежал в фойе один из тех, что были в зеленых петлицах, и шепотом доложил, что Гавриил Степанович в театр прибыли. Бомбардов прервал себя на полуслове, крепко пожал мне руку, причем произнес загадочные слова тихо:

– Будьте тверды... – И его размыло где-то в полумраке.

Я же двинулся вслед за человеком в петлицах, который иноходью шел впереди меня, изредка подманивая меня пальцем и улыбаясь болезненной улыбкой.

На стенах широкого коридора, по которому двигались мы, через каждые десять шагов встречались огненные электрические надписи: «Тишина! Рядом репетируют!»

Человек в золотом пенсне и тоже в зеленых петлицах, сидевший в конце этого идущего по кругу коридора в кресле, увидев, что меня ведут, вскочил, шепотом гаркнул: «Здравия желаю!» – и распахнул тяжелую портьеру с золотым вышитым вензелем театра «НТ».

Тут я оказался в шатре. Зеленый шелк затягивал потолок, радиусами расходясь от центра, в котором горел хрустальный фонарь. Стояла тут мягкая шелковая мебель. Еще портьера, а за нею застекленная матовым стеклом дверь. Мой новый проводник в пенсне к ней не приблизился, а сделал жест, означавший «постучите-с!», и тотчас пропал.

Я стукнул тихо, взялся за ручку, сделанную в виде головы посеребренного орла, засипела пневматическая пружина, и дверь впустила меня. Я лицом ткнулся в портьеру, запутался, откинул ее...

Меня не будет, меня не будет очень скоро! Я решился, но все же это страшновато... Но, умирая, я буду вспоминать кабинет, в котором меня принял управляющий материальным фондом театра Гавриил Степанович.

Лишь только я вошел, нежно прозвенели и заиграли менуэт громадные часы в левом углу.

В глаза мне бросились разные огни. Зеленый с письменного стола, то есть, вернее, не стола, а бюро, то есть не бюро, а какого-то очень сложного сооружения с десятками ящиков, с вертикальными отделениями для писем, с другою лампою на гнущейся серебристой ноге, с электрической зажигалкой для сигар.

Адский красный огонь из-под стола палисандрового дерева, на котором три телефонных аппарата. Крохотный белый огонек с маленького столика с плоской заграничной машинкой, с четвертым телефонным аппаратом и стопкой золотообрезной бумаги с гербами «НТ». Огонь отраженный, с потолка.

Пол кабинета был затянут сукном, но не солдатским, а бильярдным, а поверх его лежал вишневый, в вершок толщины, ковер. Колоссальный диван с подушками и турецкий кальян возле него. На дворе был день в центре Москвы, но ни один луч, ни один звук не проникал в кабинет снаружи через окно, наглухо завешенное в три слоя портьерами. Здесь была вечная мудрая ночь, здесь пахло кожей, сигарой, духами. Нагретый воздух ласкал лицо и руки.

На стене, затянутой тисненным золотом сафьяном, висел большой фотографический портрет человека с артистической шевелюрой, прищуренными глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. Я догадался, что это Иван Васильевич или Аристарх Платонович, но кто именно из двух, не знал.

Резко повернувшись на винте табурета, ко мне обратился небольшого роста человек с французской черной бородкой, с усами-стрелами, торчащими к глазам.

– Максудов, – сказал я.

– Извините, – отозвался новый знакомый высоким тенорком и показал, что сейчас, мол, только дочитаю бумагу и...

...он дочитал бумагу, сбросил пенсне на черном шнурке, протер утомленные глаза и, окончательно повернувшись спиной к бюро, уставился на меня, ничего не говоря. Он прямо и откровенно смотрел мне в глаза, внимательно изучая меня, как изучают новый, только что приобретенный механизм. Он не скрывал, что изучает меня, он даже прищурился. Я отвел глаза – не помогло, я стал ерзать на диване... Наконец я подумал: «Эге-ге...» – и сам, правда, сделав над собою очень большое усилие, уставился в ответ в глаза человеку. При этом смутное неудовольствие почувствовал почему-то по адресу Княжевича.

«Что за странность, – думал я, – или он слепой, этот Княжевич... мухи... мухи... не знаю... не знаю... Стальные, глубоко посаженные маленькие глаза... в них железная воля, дьявольская смелость, непреклонная решимость... французская бородка... почему он мухи не обидит?.. Он жутко похож на предводителя мушкетеров у Дюма... Как его звали... Забыл, черт возьми!»

Дальнейшее молчание стало нестерпимым, и прервал его Гавриил Степанович. Он игриво почему-то улыбнулся и вдруг пожал мне коленку.

– Ну, что ж, договорчик, стало быть, надо подписать? – заговорил он.

Вольт на табурете, обратный вольт, и в руках у Гавриила Степановича оказался договор.

– Только уж не знаю, как его подписывать, не согласовав с Иваном Васильевичем? – И тут Гавриил Степанович бросил невольный краткий взгляд на портрет.

«Ага! Ну, слава Богу... теперь знаю, – подумал я, – это Иван Васильевич».

– Не было б беды? – продолжал Гавриил Степанович. – Ну, уж для вас разве! – Он улыбнулся дружелюбно.

Тут без стука открылась дверь, откинулась портьера, и вошла дама с властным лицом южного типа, глянула на меня. Я поклонился ей, сказал: «Максудов»...

Дама пожала мне крепко, по-мужски, руку, ответила:

– Августа Менажраки, – села на табурет, вынула из кармашка зеленого джемпера золотой мундштук, закурила и тихо застучала на машинке.

Я прочитал договор, откровенно говорю, что ничего не понял и понять не старался.

Мне хотелось сказать: «Играйте мою пьесу, мне же ничего не нужно, кроме того, чтобы мне было предоставлено право приходить сюда ежедневно, в течение двух часов лежать на этом диване, вдыхать медовый запах табака, слушать звон часов и мечтать!»

По счастью, я этого не произнес.

Запомнилось, что часто в договоре попадались слова «буде» и «поелику» и что каждый пункт начинался словами: «Автор не имеет права».

Автор не имел права передавать свою пьесу в другой театр Москвы.

Автор не имел права передавать свою пьесу в какой-либо театр города Ленинграда.

Автор не имел права передавать свою пьесу ни в какой город РСФСР.

Автор не имел права передавать свою пьесу ни в какой город УССР.

Автор не имел права печатать свою пьесу.

Автор не имел права чего-то требовать от театра, а чего я забыл (пункт 21-й).

Автор не имел права протестовать против чего-то, и чего тоже не помню.

Один, впрочем, пункт нарушал единообразие этого документа – это был пункт 57-й. Он начинался словами:

«Автор обязуется». Согласно этому пункту, автор обязывался «безоговорочно и незамедлительно производить в своей пьесе поправки, изменения, добавления или сокращения, буде дирекция, или какие-либо комиссии, или учреждения, или организации, или корпорации, или отдельные лица, облеченные надлежащими на то полномочиями, потребуют таковых, – не требуя за сие никакого вознаграждения, кроме того, каковое указано в пункте 15-м».

Обратив свое внимание на этот пункт, я увидел, что в нем после слов «вознаграждение» следовало пустое место.

Это место я вопросительно подчеркнул ногтем.

– А какое вознаграждение вы считали бы для себя приемлемым? – спросил Гавриил Степанович, не сводя с меня глаз.

– Антон Антонович Княжевич, – сказал я, – сказал, что мне дадут две тысячи рублей...

Мой собеседник уважительно наклонил голову.

– Так, – молвил он, помолчал и добавил: – Эх, деньги, деньги! Сколько зла из-за них в мире! Все мы только и думаем о деньгах, а вот о душе подумал ли кто?

Я до того во время моей трудной жизни отвык от таких сентенций, что, признаться, растерялся... подумал: «А кто знает, может, Княжевич и прав... Просто я зачерствел и стал подозрителен...» Чтобы соблюсти приличие, я испустил вздох, а собеседник ответил мне, в свою очередь, вздохом, потом вдруг игриво подмигнул мне, что совершенно не вязалось со вздохом, и шепнул интимно:

– Четыреста рубликов? А? Только для вас? А?

Должен признаться, что я огорчился. Дело в том, что у меня как раз не было ни копейки денег и я очень рассчитывал на эти две тысячи.

– А может быть, можно тысячу восемьсот? – спросил я. – Княжевич говорил...

– Популярности ищет, – горько отозвался Гавриил Степанович.

Тут в дверь стукнули, и человек в зеленых петлицах внес поднос, покрытый белой салфеткой. На подносе помещался серебряный кофейник, молочник, две фарфоровые чашки,

апельсинного цвета снаружи и золоченые внутри, два бутерброда с зернистой икрой, два с оранжевым прозрачным балыком, два с сыром, два с холодным ростбифом.

– Вы отнесли пакет Ивану Васильевичу? – спросила вошедшего Августа Менажраки.

Тот изменился в лице и покосил поднос.

– Я, Августа Авдеевна, в буфет бегал, а Игнутов с пакетом побежал, – заговорил он.

– Я не Игнутову приказывала, а вам, – сказала Менажраки, – это не игнутовское дело пакеты Ивану Васильевичу относить. Игнутов глуп, что-нибудь перепутает, не так скажет... Вы, что же, хотите, чтобы у Ивана Васильевича температура поднялась?

– Убить хочет, – холодно сказал Гавриил Степанович.

Человек с подносом тихо простонал и уронил ложечку.

– Где Пакин был в то время, как вы пропадали в буфете? – спросила Августа Авдеевна.

– Пакин за машиной побежал, – объяснил спрашиваемый, – я в буфет побежал, говорю Игнутову – «беги к Ивану Васильевичу».

– А Бобков?

– Бобков за билетами бегал.

– Поставьте здесь! – сказала Августа Авдеевна, нажала кнопку, и из стены выскочила столовая доска.

Человек в петлицах обрадовался, покинул поднос, задом откинул портьеру, ногой открыл дверь и вдавился в нее.

– О душе, о душе подумайте, Клюквин! – вдогонку ему крикнул Гавриил Степанович и, повернувшись ко мне, интимно сказал:

– Четыреста двадцать пять. А?

Августа Авдеевна надкусила бутерброд и тихо застучала одним пальцем.

– А может быть, тысячу триста? Мне, право, неловко, но я сейчас не при деньгах, а мне портному платить...

– Вот этот костюм шил? – спросил Гавриил Степанович, указывая на мои штаны.

– Да.

– И сшил-то, шельма, плохо, – заметил Гавриил Степанович, – гоните вы его в шею!

– Но видите ли...

– У нас, – затрудняясь, сказал Гавриил Степанович, – как-то и прецедентов-то не было, чтобы мы авторам деньги при договоре выдавали, но уж для вас... четыреста двадцать пять!

– Тысячу двести, – бодрее отозвался я, – без них мне не выбраться... трудные обстоятельства...

– А вы на бегах не пробовали играть? – участливо спросил Гавриил Степанович.

– Нет, – с сожалением ответил я.

– У нас один актер тоже запутался, поехал на бега и, представьте, выиграл полторы тысячи. А у нас вам смысла нет брать. Дружески говорю, переберете – пропадете! Эх, деньги! И зачем они? Вот у меня их нету, и так легко у меня на душе, так спокойно... – И Гавриил Степанович вывернул карман, в котором, действительно, денег не было, а была связка ключей на цепочке.

– Тысячу, – сказал я.

– Эх, пропади все пропадом! – лихо вскричал Гавриил Степанович. – Пусть меня потом хоть расказнят, но выдам вам пятьсот рублей. Подписывайте!

Я подписал договор, причем Гавриил Степанович разъяснил мне, что деньги, которые будут даны мне, являются авансом, каковой я обязуюсь погасить из первых же спектаклей.

Уговорились, что сегодня я получу семьдесят пять рублей, через два дня – сто рублей, потом в субботу – еще сто, а остальные – четырнадцатого.

Боже! Какой прозаической, какой унылой показалась мне улица после кабинета. Моросило, подвода с дровами застряла в воротах, и ломовой кричал на лошадь страшным голосом, граждане шли с недовольными из-за погоды лицами. Я несся домой, стараясь не видеть картин печальной прозы. Заветный договор хранился у моего сердца.

В своей комнате я застал своего приятеля (смотри историю с револьвером).

Я мокрыми руками вытащил из-за пазухи договор, вскричал:

– Читайте!

Друг мой прочитал договор и, к великому моему удивлению, рассердился на меня.

– Это что за филькина грамота? Вы что, голова садовая, подписываете? – спросил он меня.

– Вы в театральных делах ничего не понимаете, стало быть, и не говорите! – рассердился и я.

– Что такое – «обязуется, обязуется», а они обязуются хоть в чем-нибудь? – забурчал мой друг.

Я горячо стал рассказывать ему о том, что такое картинная галерея, какой душевный человек Гавриил Степанович, упомянул о Саре Бернар и генерале Комаровском. Я хотел передать, как звенит менуэт в часах, как дымится кофе, как тихо, как волшебно звучат шаги на сукне, но часы били у меня в голове, я сам-то видел и золотой мундштук, и адский огонь в электрической печке, и даже императора Нерона, но ничего этого передать не сумел.

– Это Нерон у них составляет договоры? – дико сострил мой друг.

– Да ну вас! – вскричал я и вырвал у него договор.

Порешили позавтракать, послали Дусиного брата в магазин.

Шел осенний дождик. Какая ветчина была, какое масло!

Минуты счастья!

Московский климат известен своими капризами. Через два дня был прекрасный, как бы летний, теплый день. И я спешил в Независимый. Со сладким чувством, предвкушая получку ста рублей, я приблизился к Театру и увидел в средних дверях скромную афишу.

Я прочитал:

Репертуар, намеченный в текущем сезоне:

Эсхил – «Агамемнон»

Софокл – «Филоктет»

Лопе де Вега – «Сети Фенизы»

Шекспир – «Король Лир»

Шиллер – «Орлеанская дева»

Островский – «Не от мира сего»

Максудов – «Черный снег»

Открывши рот, я стоял на тротуаре – и удивляюсь, почему у меня не вытащили бумажник в это время. Меня толкали, говорили что-то неприятное, а я все стоял, созерцая афишу. Затем я отошел в сторонку, намереваясь увидеть, какое впечатление производит афиша на проходящих граждан.

Выяснилось, что не производит никакого. Если не считать трех-четырех, взглянувших на афишу, можно сказать, что никто ее и не читал.

Но не прошло и пяти минут, как я был вознагражден сторицей за свое ожидание. В потоке шедших к театру я отчетливо разглядел крупную голову Егора Агапёнова. Шел он к театру с целой свитой, в которой мелькнул Ликоспастов с трубкой в зубах и неизвестный с толстым приятным лицом. Последним мыкался кафр[1] в летнем, необыкновенно желтом пальто и почему-то без шляпы. Я ушел глубже в нишу, где стояла незрячая статуя, и смотрел.

Компания поравнялась с афишей и остановилась. Не знаю, как описать то, что произошло с Ликоспастовым. Он первый задержался и прочел. Улыбка еще играла на его лице, еще слова какого-то анекдота договаривали его губы. Вот он дошел до «Сетей Фенизы». Вдруг Ликоспастов стал бледен и как-то сразу постарел. На лице его выразился неподдельный ужас.

Агапёнов прочитал, сказал: «Гм...»

Толстый неизвестный заморгал глазами... «Он припоминает, где он слышал мою фамилию...»

Кафр стал спрашивать по-английски, что увидели его спутники... Агапёнов сказал: «Афиш, афиш», – и стал чертить в воздухе четырехугольник. Кафр мотал головой, ничего не понимая.

Публика шла валом и то заслоняла, то открывала головы компании. Слова то долетали до меня, то тонули в уличном шуме.

Ликоспастов повернулся к Агапёнову и сказал:

– Нет, вы видели, Егор Нилыч? Что ж это такое? – Он тоскливо огляделся. – Да они с ума сошли!..

Ветер сдул конец фразы.

Доносились клочья то агапёновского баса, то ликоспастовского тенора.

– ...Да откуда он взялся?.. Да я же его и открыл... Тот самый... Гу... гу... гу... Жуткий тип...

Я вышел из ниши и пошел прямо на читавших. Ликоспастов первый увидел меня, и меня поразило то изменение, которое произошло в его глазах. Это были ликоспастовские глаза, но что-то в них появилось новое, отчужденное, легла какая-то пропасть между нами...

– Ну, брат, – вскричал Ликоспастов, – ну, брат! Благодарю, не ожидал! Эсхил, Софокл и ты! Как ты это проделал, не понимаю, но это гениально! Ну теперь ты, конечно, приятелей узнавать не будешь! Где уж нам с Шекспирами водить дружбу!

– А ты бы перестал дурака валять! – сказал я робко.

– Ну вот, слова уж сказать нельзя! Экий ты, ей-богу! Ну, я зла на тебя не питаю. Давай почеломкаемся, старик! – И я ощутил прикосновение щеки Ликоспастова, усеянной короткой проволокой.

– Познакомьтесь! – И я познакомился с толстым, не спускавшим с меня глаз. Тот сказал: «Крупп».

Познакомился я и с кафром, который произнес очень длинную фразу на ломаном английском языке. Так как этой фразы я не понял, то ничего кафру и не сказал.

– На Учебной сцене, конечно, играть будут? – допытывался Ликоспастов.

– Не знаю, – ответил я, – говорят, что на Главной.

Опять побледнел Ликоспастов и тоскливо глянул в сияющее небо.

– Ну что ж, – сказал он хрипло, – давай Бог. Давай, давай. Может быть, тут тебя постигнет удача. Не вышло с романом, кто знает, может быть, с пьесой выйдет. Только ты не загордись. Помни: нет ничего хуже, чем друзей забывать!

Крупп глядел на меня и почему-то становился все задумчивее; причем я заметил, что он внимательнее всего изучает мои волосы и нос.

Надо было расставаться. Это было тягостно. Егор, пожимая мне руку, осведомился, прочел ли я его книгу. Я похолодел от страху и сказал, что не читал. Тут побледнел Егор.

– Где уж ему читать, – заговорил Ликоспастов, – у него времени нету современную литературу читать... Ну, шучу, шучу...

– Вы прочтите, – веско сказал Егор, – хорошая книжица получилась.

Я вошел в подъезд бельэтажа. Окно, выходящее на улицу, было открыто. Человек с зелеными петлицами протирал его тряпкой. Головы литераторов проплыли за мутным стеклом, донесся голос Ликоспастова:

– Бьешься... бьешься, как рыба об лед... Обидно!

Афиша все перевернула у меня в голове, и я чувствовал только одно, что пьеса моя, по существу дела, чрезвычайно, между нами говоря, плоха и что что-то надо бы предпринять, но что – неизвестно.

...И вот у лестницы, ведущей в бельэтаж, передо мною предстал коренастый блондин с решительным лицом и встревоженными глазами. Блондин держал пухлый портфель.

– Товарищ Максудов? – спросил блондин.

– Да, я...

– Ищу вас по всему театру, – заговорил новый знакомый, – позвольте представиться – режиссер Фома Стриж. Ну, все в порядочке. Не волнуйтесь и не беспокойтесь, пьеса ваша в хороших руках. Договор подписали?

– Да.

– Теперь вы наш, – решительно продолжал Стриж. Глаза его сверкали. – Вам бы вот что сделать, заключить бы с нами договор на всю вашу грядущую продукцию! На всю жизнь! Чтобы вся она шла к нам. Ежели желаете, мы это сейчас же сделаем. Плюнуть раз! – И Стриж плюнул в плевательницу. – Нуте-с, ставить пьесу буду я. Мы ее в два месяца обломаем. Пятнадцатого декабря покажем генеральную. Шиллер нас не задержит. С Шиллером дело гладкое...

– Виноват, – сказал я робко, – а мне говорили, что Евлампия Петровна будет ставить...

Стриж изменился в лице.

– Какая такая Евлампия Петровна? – сурово спросил он меня. – Никаких Евлампий. – Голос его стал металлическим. – Евлампия не имеет сюда отношения, она с Ильчиным «На дворе во флигеле» будет ставить. У меня твердая договоренность с Иваном Васильевичем! А ежели кто подкоп поведет, то я в Индию напишу! Заказным, ежели уж на то пошло, – угрожающе закричал Фома Стриж, почему-то впадая в беспокойство. – Давайте сюда экземпляр, – скомандовал он мне, протягивая руку.

Я объяснил, что экземпляр еще не переписан.

– Об чем же они думали? – возмущенно оглядываясь, вскричал Стриж. – Вы у Поликсены Торопецкой в предбаннике были?

Я ничего не понял и только дико глядел на Стрижа.

– Не были? Сегодня она выходная. Завтра же захватите экземпляр, идите к ней, моим именем действуйте! Смело!

Тут очень воспитанный, картавый изящный человек появился рядом и сказал вежливо, но настойчиво:

– В репетиционный зал прошу, Фома Сергеевич! Начинаем.

И Фома перехватил портфель под мышку и скрылся, крикнув на прощанье мне:

– Завтра же в предбанник! Моим именем!

А я остался стоять и долго стоял неподвижно.

Глава 10
СЦЕНЫ В ПРЕДБАННИКЕ

Осенило! Осенило! В пьесе моей было тринадцать картин. Сидя у себя в комнатушке, я держал перед собою старенькие серебряные часы и вслух сам себе читал пьесу, очевидно, очень изумляя соседа за стенкой. По прочтении каждой картины я отмечал на бумажке. Когда дочитал, вышло, что чтение занимает три часа. Тут я сообразил, что во время спектакля бывают антракты, во время которых публика уходит в буфет. Прибавив время на антракты, я понял, что пьесу мою в один вечер сыграть нельзя. Ночные мучения, связанные с этим вопросом, привели к тому, что я вычеркнул одну картину. Это сократило спектакль на двадцать минут, но положения не спасло. Я вспомнил, что помимо антрактов бывают и паузы. Так, например, стоит актриса и, плача, поправляет в вазе букет. Говорить она ничего не говорит, а время-то уходит. Стало быть, бормотать текст у себя дома – одно, а произносить его со сцены – совершенно иное дело.

Надо было еще что-то выбрасывать из пьесы, а что – неизвестно. Все мне казалось важным, а кроме того, стоило наметить что-нибудь к изгнанию, как все с трудом построенное здание начинало сыпаться, и мне снилось, что падают карнизы и обваливаются балконы, и были эти сны вещие.

Тогда я изгнал одно действующее лицо вон, отчего одна картина как-то скособочилась, потом совсем вылетела, и стало одиннадцать картин.

Дальше, как я ни ломал голову, как ни курил, ничего сократить не мог. У меня каждый день болел левый висок. Поняв, что дальше ничего не выйдет, решил дело предоставить его естественному течению.

И тогда я отправился к Поликсене Торопецкой.

«Нет, без Бомбардова мне не обойтись...» – думалось мне. И Бомбардов весьма помог мне. Он объяснил, что и эта уже вторично попадающаяся Индия, и предбанник – это вовсе не бред и не послышалось мне. Теперь окончательно выяснилось, что во главе Независимого Театра стояли двое директоров: Иван, как я уже знал, Васильевич и Аристарх Платонович...

– Скажите, кстати, почему в кабинете, где я подписывал договор, только один портрет – Ивана Васильевича?

Тут Бомбардов, обычно очень бойкий, замялся.

– Почему?.. Внизу? Гм... гм... нет... Аристарх Платонович... он... там... его портрет наверху...

Я понял, что Бомбардов еще не привык ко мне, стесняется меня. Это было ясно по этому невразумительному ответу. И я не стал расспрашивать из деликатности... «Этот мир чарует, но он полон загадок...» – думал я.

Индия? Это очень просто. Аристарх Платонович в настоящее время находился в Индии, вот Фома и собирался ему писать заказным. Что касается предбанника, то это актерская шутка. Так они прозвали (и это привилось) комнату перед верхним директорским кабинетом, в которой работала Поликсена Васильевна Торопецкая. Она – секретарь Аристарха Платоновича...

– А Августа Авдеевна?

– Ну, натурально, Ивана Васильевича.

– Ага, ага...

– Ага-то оно ага, – сказал, задумчиво поглядывая на меня, Бомбардов, – но вы, я вам это очень советую, постарайтесь произвести на Торопецкую хорошее впечатление.

– Да я не умею!

– Нет, уж вы постарайтесь!

Держа свернутый в трубку манускрипт, я поднялся в верхний отдел театра и дошел до того места, где, согласно указаниям, помещался предбанник.

Перед предбанником были какие-то сени с диваном; тут я остановился, поволновался, поправил галстук, размышляя о том, как мне произвести на Поликсену Торопецкую хорошее впечатление. И тут же мне показалось, что из предбанника слышатся рыдания. «Это мне показалось...» – подумал я и вошел в предбанник, причем сразу выяснилось, что мне ничуть не показалось. Я догадался, что дама с великолепным цветом лица и в алом джемпере за желтой конторкой и есть Поликсена Торопецкая, и рыдала именно она.

Ошеломленный и незамеченный, я остановился в дверях.

Слезы текли по щекам Торопецкой, в одной руке она комкала платок, другой стучала по конторке. Рябой, плотно сколоченный человек с зелеными петлицами, с блуждающими от ужаса и горя глазами, стоял перед конторкой, тыча руками в воздух.

– Поликсена Васильевна! – диким от отчаяния голосом восклицал человек. – Поликсена Васильевна! Не подписали еще! Завтра подпишут!

– Это подло! – вскричала Поликсена Торопецкая. – Вы поступили подло, Демьян Кузьмич! Подло!

– Поликсена Васильевна!

– Это нижние подвели интригу под Аристарха Платоновича, пользуясь тем, что он в Индии, а вы помогали им!

– Поликсена Васильевна! Матушка! – закричал страшным голосом человек. – Что вы говорите! Чтобы я под благодетеля своего...

– Ничего не хочу слушать, – закричала Торопецкая, – все ложь, презренная ложь! Вас подкупили!

Услыхав это, Демьян Кузьмич крикнул:

– Поли... Поликсена, – и вдруг зарыдал сам страшным, глухим, лающим басом.

А Поликсена взмахнула рукой, чтобы треснуть по конторке, треснула и всадила себе в ладонь кончик пера, торчащего из вазочки. Тут Поликсена взвизгнула тихо, выскочила из-за конторки, повалилась в кресло и засучила ножками, обутыми в заграничные туфли со стеклянными бриллиантами на пряжках.

Демьян Кузьмич даже не вскрикнул, а как-то взвыл утробно:

– Батюшки! Доктора! – и кинулся вон, а за ним кинулся и я в сени.

Через минуту мимо меня пробежал человек в сером пиджачном костюме, с марлей и склянкой в руке и скрылся в предбаннике.

Я слышал его крик:

– Дорогая! Успокойтесь!

– Что случилось? – шепотом спросил я в сенях у Демьяна Кузьмича.

– Изволите ли видеть, – загудел Демьян Кузьмич, обращая ко мне отчаянные, слезящиеся глаза, – послали они меня в комиссию за путевками нашим в Сочи на октябрь... Нуте-с, четыре путевки выдали, а племяннику Аристарха Платоновича почему-то забыли подписать в комиссии... Приходи, говорят, завтра в двенадцать... И вот, изволите ли видеть, – я интригу

подвел! – И по страдальческим глазам Демьяна Кузьмича видно было, что он чист, никакой интриги не подводил и вообще интригами не занимается.

Из предбанника донесся слабый крик «ай!», и Демьян Кузьмич брызнул из сеней и скрылся бесследно. Минут через десять ушел и доктор. Я некоторое время просидел в сенях на диване, пока из предбанника не начал слышаться стук машинки, тут осмелился и вошел.

Поликсена Торопецкая, напудренная и успокоившаяся, сидела за конторкой и писала на машинке. Я сделал поклон, стараясь, чтобы это был приятный и в то же время исполненный достоинства поклон, и голосом заговорил достойным и приятным, отчего тот зазвучал, к удивлению моему, сдавленно.

Объяснив, что я такой-то, а направлен сюда Фомою для того, чтобы диктовать пьесу, я получил от Поликсены приглашение садиться и подождать, что я и сделал.

Стены предбанника были обильно увешаны фотографиями, дагерротипами и картинами, среди которых царствовал большой, масляными красками писанный, портрет представительного мужчины в сюртуке и с бакенбардами по моде семидесятых годов. Я догадался, что это Аристарх Платонович, но не понял, кто эта воздушная белая девица или дама, выглядывающая из-за головы Аристарха Платоновича и держащая в руке прозрачное покрывало. Эта загадка до того меня мучила, что, выбрав пристойный момент, я кашлянул и спросил об этом.

Произошла пауза, во время которой Поликсена остановила на мне свой взор, как бы изучая меня, и наконец ответила, но как-то принужденно:

– Это – муза.

– А-а, – сказал я.

Опять застучала машинка, а я стал осматривать стены и убедился, что на каждом из снимков или карточек был изображен Аристарх Платонович в компании с другими лицами.

Так, пожелтевший старый снимок изображал Аристарха Платоновича на опушке леса. Аристарх Платонович был одет по-осеннему и городскому, в ботах, в пальто и цилиндре. А спутник его был в какой-то кацавейке, с ягдташем, с двухствольным ружьем. Лицо спутника, пенсне, седая борода показались мне знакомы.

Поликсена Торопецкая тут обнаружила замечательное свойство – в одно и то же время писать и видеть каким-то волшебным образом, что делается в комнате. Я даже вздрогнул, когда она, не дожидаясь вопроса, сказала:

– Да, да, Аристарх Платонович с Тургеневым на охоте.

Таким же образом я узнал, что двое в шубах у подъезда «Славянского базара», рядом с пароконным извозчиком – Аристарх Платонович и Островский.

Четверо за столом, а сзади фикус: Аристарх Платонович, Писемский, Григорович и Лесков.

О следующем снимке не нужно было и спрашивать: старик, босой, в длинной рубахе, засунувший руки за поясок, с бровями, как кусты, с запущенной бородой и лысый, не мог быть никем иным, кроме Льва Толстого. Аристарх Платонович стоял против него в плоской соломенной шляпе, в чесучовом летнем пиджаке.

Но следующая акварель поразила меня выше всякой меры. «Не может этого быть!» – подумал я. В бедной комнате, в кресле, сидел человек с длиннейшим птичьим носом, больными и встревоженными глазами, с волосами, ниспадавшими прямыми прядями на изможденные щеки, в узких светлых брюках со штрипками, в обуви с квадратными носами, во фрачке синем. Рукопись на коленях, свеча в шандале на столе.

Молодой человек лет шестнадцати, еще без бакенбард, но с тем же надменным носом, словом, несомненный Аристарх Платонович, в курточке, стоял, опираясь руками на стол.

Я выпучил глаза на Поликсену, и та ответила сухо:

– Да, да. Гоголь читает Аристарху Платоновичу вторую часть «Мертвых душ».

Волосы шевельнулись у меня на макушке, как будто кто-то дунул сзади, и как-то само собой у меня вырвалось, невольно:

– Сколько же лет Аристарху Платоновичу?!

На неприличный вопрос я получил и соответствующий ответ, причем в голосе Поликсены послышалась какая-то вибрация:

– У таких людей, как Аристарх Платонович, лет не существует. Вас, по-видимому, очень удивляет, что за время деятельности Аристарха Платоновича многие имели возможность пользоваться его обществом?

– Помилуйте! – вскричал я, испугавшись. – Совершенно наоборот!.. Я... – но ничего больше путного не сказал, потому что подумал: «А что наоборот?! Что я плету?»

Поликсена умолкла, и я подумал: «Нет, мне не удалось произвести на нее хорошее впечатление. Увы! Это ясно!»

Тут дверь отворилась, и в предбанник оживленной походкой вошла дама, и стоило мне взглянуть на нее, как я узнал в ней Людмилу Сильвестровну Пряхину из портретной галереи. Все на даме было как на портрете: и косынка, и тот же платочек в руке, и так же она держала его, оттопырив мизинец.

Я подумал о том, что не худо бы было и на нее попытаться произвести хорошее впечатление, благо это заодно, и отвесил вежливый поклон, но он как-то прошел незамеченным.

Вбежав, дама засмеялась переливистым смехом и воскликнула:

– Нет, нет! Неужели вы не видите? Неужели вы не видите?

– А что такое? – спросила Торопецкая.

– Да ведь солнышко, солнышко! – восклицала Людмила Сильвестровна, играя платочком и даже немного подтанцовывая. – Бабье лето! Бабье лето!

Поликсена поглядела на Людмилу Сильвестровну загадочными глазами и сказала:

– Тут анкету нужно будет заполнить.

Веселье Людмилы Сильвестровны прекратилось сразу, и лицо ее настолько изменилось, что на портрете я теперь бы ее ни в коем случае не узнал.

– Какую еще анкету? Ах, Боже мой! Боже мой! – И я уж и голоса ее не узнал. – Только что я радовалась солнышку, сосредоточилась в себе, что-то только что нажила, вырастила зерно, чуть запели струны, я шла, как в храм... и вот... Ну, давайте, давайте ее сюда!

– Не нужно кричать, Людмила Сильвестровна, – тихо заметила Торопецкая.

– Я не кричу! Я не кричу! И ничего я не вижу. Мерзко напечатано. – Пряхина бегала глазами по серому анкетному листу и вдруг оттолкнула его: – Ах, пишите вы сами, пишите, я ничего не понимаю в этих делах!

Торопецкая пожала плечами, взяла перо.

– Ну, Пряхина, Пряхина, – нервно вскрикивала Людмила Сильвестровна, – ну, Людмила Сильвестровна! И все это знают, и ничего я не скрываю!

Торопецкая вписала три слова в анкету и спросила:

– Когда вы родились?

Этот вопрос произвел на Пряхину удивительное действие: на скулах у нее выступили красные пятна, и она вдруг заговорила шепотом:

– Пресвятая Богоматерь! Что же это такое? Я не понимаю, кому это нужно знать, зачем? Почему? Ну, хорошо, хорошо. Я родилась в мае, в мае! Что еще нужно от меня? Что?

– Год нужен, – тихо сказала Торопецкая.

Глаза Пряхиной скосились к носу, и плечи стали вздрагивать.

– Ох, как бы я хотела, – зашептала она, – чтобы Иван Васильевич видел, как артистку истязают перед репетицией!..

– Нет, Людмила Сильвестровна, так невозможно, – отозвалась Торопецкая, – возьмите вы анкету домой и заполняйте ее сами, как хотите.

Пряхина схватила лист и с отвращением стала засовывать его в сумочку, дергая ртом.

Тут грянул телефон, и Торопецкая резко крикнула:

– Да! Нет, товарищ! Какие билеты! Никаких билетов у меня нет!.. Что? Гражданин! Вы отнимаете у меня время! Нету у меня ника... Что? Ах! – Торопецкая стала красной с лица. – Ах! Простите! Я не узнала голоса! Да, конечно! Конечно! Прямо в контроле будут оставлены. И программу я распоряжусь, чтобы оставили! А Феофил Владимирович сам не будет? Мы будем очень жалеть! Очень! Всего, всего, всего доброго!

Сконфуженная Торопецкая повесила трубку и сказала:

– Из-за вас я нахамила не тому, кому следует!

– Ах, оставьте, оставьте все это! – нервно вскричала Пряхина. – Погублено зерно, испорчен день!

– Да, – сказала Торопецкая, – заведующий труппой просил вас зайти к нему.

Легкая розоватость окрасила щеки Пряхиной, она надменно подняла брови.

– Зачем же это я понадобилась ему? Это крайне интересно!

– Костюмерша Королькова на вас пожаловалась.

– Какая такая Королькова? – воскликнула Пряхина. – Кто это? Ах да, вспомнила! Да и как не вспомнить, – тут Людмила Сильвестровна рассмеялась так, что холодок прошел у меня по спине, – на «у» и не разжимая губ, – как не вспомнить эту Королькову, которая испортила мне подол? Что же она наябедничала на меня?

– Она жалуется, что вы ее ущипнули со злости в уборной при парикмахерах, – ласково сказала Торопецкая, и при этом в ее хрустальных глазах на мгновение появилось мерцание.

Эффект, который произвели слова Торопецкой, поразил меня. Пряхина вдруг широко и криво, как у зубного врача, открыла рот, а из глаз ее двумя потоками хлынули слезы. Я съежился в кресле и почему-то поднял ноги. Торопецкая нажала кнопку звонка, и тотчас в дверь всунулась голова Демьяна Кузьмича и мгновенно исчезла.

Пряхина же приложила кулак ко лбу и закричала резким, высоким голосом:

– Меня сживают со свету! Бог Господь! Бог Господь! Бог Господь! Да взгляни же хоть ты, Пречистая Матерь, что со мною делают в театре! Подлец Пеликан! А Герасим Николаевич предатель! Воображаю, что он нес обо мне в Сивцевом Вражке! Но я брошусь в ноги Ивану Васильевичу! Умолю его выслушать меня!.. – Голос ее сел и треснул.

Тут дверь распахнулась, вбежал тот самый доктор. В руках у него была склянка и рюмка. Никого и ни о чем не спрашивая, он привычным жестом плеснул из склянки в рюмку мутную жидкость, но Пряхина хрипло вскричала:

– Оставьте меня! Оставьте меня! Низкие люди! – и выбежала вон.

За нею устремился доктор, воскликнув «дорогая!» – а за доктором, вынырнув откуда-то, топая в разные стороны подагрическими ногами, полетел Демьян Кузьмич.

Из раскрытых дверей несся плеск клавишей, и дальний мощный голос страстно пропел: «...и будешь ты царицей, ми... и... и...» – он пошел шире, лихо развернулся, – «ра-а...» – но двери захлопнулись, и голос погас.

– Ну-с, я освободилась, приступим, – сказала Торопецкая, мягко улыбаясь.

Глава 11

Я ЗНАКОМЛЮСЬ С ТЕАТРОМ

Торопецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видел. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит. Я дошел до того, что, расхаживая по предбаннику взад и вперед и диктуя, останавливался, задумывался, потом говорил: «Нет, погодите...» – менял написанное, совсем перестал упоминать, кто говорит, бормотал и говорил громко, но что бы я ни делал, из-под руки Торопецкой шла почти без подчисток идеально ровная страница пьесы, без единой грамматической ошибки – хоть сейчас отдавай в типографию.

Вообще Торопецкая свое дело знала и справлялась с ним хорошо. Писали мы под аккомпанемент телефонных звонков. Первоначально они мне мешали, но потом я к ним так привык, что они мне нравились. Поликсена расправлялась со звонящими с необыкновенной ловкостью. Она сразу кричала:

– Да? Говорите, товарищ, скорее, я занята! Да?

От такого приема товарищ, находящийся на другом конце проволоки, терялся и начинал лепетать всякий вздор и был мгновенно приводим в порядок.

Круг деятельности Торопецкой был чрезвычайно обширен. В этом я убедился по телефонным звонкам.

– Да, – говорила Торопецкая, – нет, вы не сюда звоните. Никаких билетов у меня нет... Я застрелю тебя! (Это – мне, повторяя уже записанную фразу.)

Опять звонок.

– Все билеты уже проданы, – говорила Торопецкая, – у меня нет контрамарок... Этим ты ничего не докажешь. (Мне.)

«Теперь начинаю понимать,– думал я, – какое количество охотников ходить даром в театр в Москве. И вот странно: никто из них не пытается проехать даром в трамвае. Опять-таки никто из них не придет в магазин и не попросит, чтобы ему бесплатно отпустили коробку килек. Почему они считают, что в театре не нужно платить?»

– Да! Да! – кричала Торопецкая в телефон. – Калькутта, Пенджаб, Мадрас, Аллогобад... Нет, адрес не даем! Да? – говорила она мне.

– Я не позволю, чтобы он распевал испанские серенады под окном у моей невесты, – с жаром говорил я, бегая по предбаннику.

– Невесты... – повторяла Торопецкая. Машинка давала звоночки поминутно. Опять гремел телефон.

– Да! Независимый Театр! Нет у меня никаких билетов! Невесты...

– Невесты!.. – говорил я. – Ермаков бросает гитару на пол и выбегает на балкон.

– Да! Независимый! У меня никаких билетов нет!.. Балкон.

– Анна устремляется... нет, просто уходит за ним.

– Уходит... да? Ах да. Товарищ Бутович, вам будут оставлены билеты у Фили в конторе. Всего доброго.

«Анна. Он застрелится!

Бахтин. Не застрелится!»

– Да! Здравствуйте. Да, с нею. Потом Андамонские острова. К сожалению, адрес дать не могу, Альберт Альбертович... Не застрелится!..

Надо отдать справедливость Поликсене Торопецкой: дело свое она знала. Она писала десятью пальцами – обеими руками; как только телефон давал сигнал, писала одной рукой, другой снимала трубку, кричала: «Калькутта не понравилась! Самочувствие хорошее...» Демьян Кузьмич входил часто, подбегал к конторке, подавал какие-то бумажки. Торопецкая

правым глазом читала их, ставила печати, левой писала на машинке: «Гармоника играет весело, но от этого...»

– Нет, погодите, погодите! – вскрикивал я. – Нет, не весело, а что-то бравурное... Или нет... погодите, – я дико смотрел в стену, не зная, как гармоника играет. Торопецкая в это время пудрилась, говорила в телефон какой-то Мисси, что планшетки для корсета захватит в Вене Альберт Альбертович. Разные люди появлялись в предбаннике, и первоначально мне было стыдно диктовать при них, казалось, что я голый один среди одетых, но я быстро привык.

Показывался Миша Панин и каждый раз, проходя, для поощрения меня, жал мне предплечье и проходил к себе в дверь, за которой, как я уже узнал, помещался его аналитический кабинет.

Приходил гладко выбритый, с римским упадочным профилем, капризно выпяченной нижней губой, председатель режиссерской корпорации Иван Александрович Полторацкий.

– Миль пардон. Второй акт уже пишете! Грандиозно! – восклицал он и проходил в другую дверь, комически поднимая ноги, чтобы показать, что он старается не шуметь. Если дверь приоткрывалась, слышно было, как он говорил по телефону:

– Мне все равно... я человек без предрассудков... Это даже оригинально – приехали на бега в подштанниках. Но Индия не примет... Всем сшил одинаково – и князю, и мужу, и барону... Совершенные подштанники и по цвету и по фасону!.. А вы скажите, что нужны брюки. Мне нет дела! Пусть переделывают. А гоните вы его к чертям! Что он врет! Петя Дитрих не может такие костюмы рисовать! Он брюки нарисовал. Эскизы у меня на столе! Петя... Утонченный или неутонченный, он сам в брюках ходит! Опытный человек!

В разгар дня, когда я, хватаясь за волосы, пытался представить себе, как выразить поточнее, что вот... человек падает... роняет револьвер... кровь течет или не течет?.. – вошла в предбанник молодая, скромно одетая актриса и воскликнула:

– Здравствуйте, душечка, Поликсена Васильевна! Я вам цветочков принесла!

Она расцеловала Поликсену и положила на конторку четыре желтоватые астры.

– Обо мне нет ли чего из Индии?

Поликсена ответила, что есть, и вынула из конторки пухленький конверт. Актриса взволновалась.

– «Скажите Вешняковой, – прочитала Торопецкая, – что я решил загадку роли Ксении...»

– Ах, ну, ну!.. – вскричала Вешнякова.

– «Я был с Прасковьей Федоровной на берегу Ганга, и там меня осенило. Дело в том, что Вешнякова не должна выходить из средних дверей, а сбоку, там, где пианино. Пусть не забывает, что она недавно лишилась мужа и из средних дверей не решится выйти ни за что. Она идет монашеской походкой, опустив глаза долу, держа в руках букетик полевой ромашки, что типично для всякой вдовы...»

– Боже! Как верно! Как глубоко! – вскричала Вешнякова. – Верно! То-то мне было неудобно в средних дверях.

– Погодите, – продолжала Торопецкая, – тут есть еще, – и прочитала: – «А впрочем, пусть Вешнякова выходит, откуда хочет! Я приеду, тогда все станет ясно. Ганг мне не понравился, по-моему, этой реке чего-то не хватает...» Ну, это к вам не относится, – заметила Поликсена.

– Поликсена Васильевна, – заговорила Вешнякова, – напишите Аристарху Платоновичу, что я безумно, безумно ему благодарна!

– Хорошо.

– А мне нельзя ему написать самой?

– Нет, – ответила Поликсена, – он изъявил желание, чтобы ему никто не писал, кроме меня. Это его утомляло бы во время его раздумий.

– Понимаю, понимаю! – вскричала Вешнякова и, расцеловав Торопецкую, удалилась.

Вошел полный, средних лет энергичный человек и еще в дверях, сияя, воскликнул:

– Новый анекдот слышали? Ах, вы пишете?

– Ничего, у нас антракт, – сказала Торопецкая, и полный человек, видимо, распираемый анекдотом, сверкая от радости, наклонился к Торопецкой. Руками он в это время сзывал народ. Явился на анекдот Миша Панин и Полторацкий и еще кто-то. Головы наклонились над конторкой. Я слышал: «И в это время муж возвращается в гостиную...» За конторкой засмеялись. Полный пошептал еще немного, после чего Мишу Панина охватил его припадок смеха «ах, ах, ах», Полторацкий вскричал: «Грандиозно!» – а полный захохотал счастливым смехом и тотчас кинулся вон, крича:

– Вася! Вася! Стой! Слышал? Новый анекдот продам!

Но ему не удалось Васе продать анекдот, потому что его вернула Торопецкая.

Оказалось, что Аристарх Платонович писал и о полном.

– «Передайте Елагину, – читала Торопецкая, – что он более всего должен бояться сыграть результат, к чему его всегда очень тянет».

Елагин изменился в лице и заглянул в письмо.

– «Скажите ему, – продолжала Торопецкая, – что в сцене вечеринки у генерала он не должен сразу здороваться с женою полковника, а предварительно обойти стол кругом, улыбаясь растерянно. У него винокуренный завод, и он ни за что не поздоровается сразу, а...»

– Не понимаю! – заговорил Елагин, – простите, не понимаю, – Елагин сделал круг по комнате, как бы обходя что-то, – нет, не чувствую я этого. Мне неудобно!.. Жена полковника перед ним, а он чего-то пойдет... Не чувствую!

– Вы хотите сказать, что вы лучше понимаете эту сцену, чем Аристарх Платонович? – ледяным голосом спросила Торопецкая.

Этот вопрос смутил Елагина.

– Нет, я этого не говорю... – Он покраснел. – Но, посудите... – И он опять сделал круг по комнате.

– Я думаю, что в ножки следовало бы поклониться Аристарху Платоновичу за то, что он из Индии...

– Что это у нас все в ножки да в ножки, – вдруг пробурчал Елагин.

«Э, да он молодец», – подумал я.

– Вы лучше выслушайте, что дальше пишет Аристарх Пла-тонович, – и прочитала: – «А впрочем, пусть он делает, как хочет. Я приеду, и пьеса станет всем ясна».

Елагин повеселел и отколол такую штуку. Он махнул рукой у щеки, потом у другой, и мне показалось, что у него на моих глазах выросли бакенбарды. Затем он стал меньше ростом, надменно раздул ноздри и сквозь зубы, при этом выщипывая волоски из воображаемых бакенбард, проговорил все, что было написано о нем в письме.

«Какой актер!» – подумал я. Я понял, что он изображает Аристарха Платоновича.

Кровь прилила к лицу Торопецкой, она тяжело задышала.

– Я попросила бы вас!..

– А впрочем, – сквозь зубы говорил Елагин, пожал плечами, своим обыкновенным голосом сказал: – Не понимаю! – и вышел. Я видел, как он в сенях сделал еще один круг в передней, недоуменно пожал плечами и скрылся.

– Ох, уж эти середняки! – заговорила Поликсена. – Ничего святого. Вы слышали, как они разговаривают?

– Кхм, – ответил я, не зная, что сказать, и, главное, не понимая, что означает слово «середняки».

К концу первого дня стало ясно, что в предбаннике пьесу писать нельзя. Поликсену освободили на два дня от ее непосредственных обязанностей, и нас с ней перевели в одну из женских уборных. Демьян Кузьмич, пыхтя, приволок туда машинку.

Бабье лето сдалось и уступило место мокрой осени. Серый свет лился в окно. Я сидел на кушеточке, отражаясь в зеркальном шкафу, а Поликсена на табуреточке. Я чувствовал себя как бы двухэтажным. В верхнем происходила кутерьма и беспорядок, который нужно было превратить в порядок. Требовательные герои пьесы вносили необыкновенную заботу в душу. Каждый требовал нужных слов, каждый старался занять первое место, оттесняя других. Править пьесу – чрезвычайно утомительное дело. Верхний этаж шумел и двигался в голове и мешал наслаждаться нижним, где царствовал установившийся, прочный покой. Со стен маленькой уборной, похожей на бонбоньерку, смотрели, улыбаясь искусственными улыбками, женщины с преувеличенно пышными губами и тенями под глазами. Эти женщины были в кринолинах или в фижмах. Меж ними сверкали зубами с фотографий мужчины с цилиндрами в руках. Один из них был в жирных эполетах. Пьяный толстый нос свисал до губы, щеки и шея разрезаны складками. Я не узнал в нем Елагина, пока Поликсена не сказала мне, кто это.

Я глядел на фотографии, трогал, вставая с кушетки, негорящие лампионы, пустую пудреницу, вдыхал чуть ощутимый запах какой-то краски и ароматный запах папирос Поликсены. Здесь было тихо, и тишину эту резало только стрекотание машинки и тихие ее звоночки, да еще иногда чуть скрипел паркет. В открытую дверь было видно, как на цыпочках проходили иногда какие-то пожилые женщины, сухонького вида, пронося груды крахмальных юбок.

Изредка великое молчание этого коридора нарушалось глухими взрывами музыки откуда-то и дальними грозными криками. Теперь я знал, что на сцене, где-то глубоко за паутиной старых коридоров, спусков и лестниц, репетируют пьесу «Степан Разин».

Мы начинали писать в двенадцать часов, а в два происходил перерыв. Поликсена уходила к себе, чтобы навестить свое хозяйство, а я шел в чайный буфет.

Для того чтобы в него попасть, я должен был покинуть коридор и выйти на лестницу. Тут уже нарушалось очарование молчания. По лестнице подымались актрисы и актеры, за белыми дверями звенел телефон, телефон другой откуда-то отзывался снизу. Внизу дежурил один из вышколенных Августой Менажраки курьеров. Потом железная средневековая дверь, таинственные за нею ступени и какое-то безграничное, как мне казалось, по высоте кирпичное ущелье, торжественное, полутемное. В этом ущелье, наклоненные к стенам его, высились декорации в несколько слоев. На белых деревянных рамах их мелькали таинственные условные надписи черным: «I лев. зад», «Граф. заспин.», «Спальня III-й акт». Широкие, высокие, от времени черные ворота с врезанной в них калиткой с чудовищным замком на ней были справа, и я узнал, что они ведут на сцену. Такие же ворота были слева, и выводили они во двор, и через эти ворота рабочие из сараев подавали декорации, не помещавшиеся в ущелье. Я задерживался в ущелье всегда, чтобы предаться мечтам в одиночестве, а сделать это было легко, ибо лишь редкий путник попадался навстречу на узкой тропе между декорациями, где, чтобы разминуться, нужно было поворачиваться боком.

Сосущая с тихим змеиным свистом воздух пружина-цилиндр на железной двери выпускала меня. Звуки под ногами пропадали, я попадал на ковер, по медной львиной голове узнавал преддверие кабинета Гавриила Степановича и все по тому же солдатскому сукну шел туда, где уже мелькали и слышались люди, – в чайный буфет.

Многоведерный блестящий самовар за прилавком первым бросался в глаза, а вслед за ним маленького роста человек, пожилой, с нависшими усами, лысый и столь печальными глазами, что жалость и тревога охватывали каждого, кто не привык еще к нему. Вздыхая

тоскливо, печальный человек стоял за прилавком и глядел на груду бутербродов с кетовой икрой и с сыром брынзой. Актеры подходили к буфету, брали эту снедь, и тогда глаза буфетчика наполнялись слезами. Его не радовали ни деньги, которые платили за бутерброды, ни сознание того, что он стоит в самом лучшем месте столицы, в Независимом Театре. Ничто его не радовало, душа его, очевидно, болела при мысли, что вот съедят все, что лежит на блюде, съедят без остатка, выпьют весь гигантский самовар.

Из двух окон шел свет слезливого осеннего дня, за буфетом горела настенная лампа в тюльпане, никогда не угасая, углы тонули в вечном сумраке.

Я стеснялся незнакомых людей, сидевших за столиками, боялся подойти, хоть подойти хотелось. За столиками слышался приглушенный хохот, всюду что-то рассказывали.

Выпив стакан чаю и съев бутерброд с брынзой, я шел в другие места театра. Больше всего мне полюбилось то место, которое носило название «контора».

Это место резко отличалось от всех других мест в театре, ибо это было единственное шумное место, куда, так сказать, вливалась жизнь с улицы.

Контора состояла из двух частей. Первой – узкой комнатки, в которую вели настолько замысловатые ступеньки со двора, что каждый входящий впервые в Театр непременно падал. В первой комнатенке сидели двое курьеров – Катков и Баквалин. Перед ними на столике стояли два телефона. И эти телефоны, почти никогда не умолкая, звонили.

Я очень быстро понял, что по телефонам зовут одного и того же человека и этот человек помещался в смежной комнате, на дверях которой висела надпись:

«Заведующий внутренним порядком

Филипп Филиппович Тулумбасов».

Большей популярности, чем у Тулумбасова, не было ни у кого в Москве и, вероятно, никогда не будет. Весь город, казалось мне, ломился по аппаратам к Тулумбасову, и то Катков, то Баквалин соединяли с Филиппом Филипповичем жаждущих говорить с ним.

Говорил ли мне кто-то или приснилось мне, что будто бы Юлий Кесарь обладал способностью делать несколько разных дел одновременно, например, читать что-либо и слушать кого-нибудь.

Свидетельствую здесь, что Юлий Кесарь растерялся бы самым жалким образом, если бы его посадили на место Филиппа Филипповича.

Помимо тех двух аппаратов, которые гремели под руками Баквалина и Каткова, перед самим Филиппом Филипповичем стояло их два, а один, старинного типа, висел на стене.

Филипп Филиппович, полный блондин с приятным круглым лицом, с необыкновенно живыми глазами, на дне которых покоилась не видная никому грусть, затаенная, по-видимому, вечная, неизлечимая, сидел за барьером в углу, чрезвычайно уютном. День ли был на дворе или ночь, у Филиппа Филипповича всегда был вечер с горящей лампой под зеленым колпаком. Перед Филиппом Филипповичем на письменном столе помещалось четыре календаря, сплошь исписанные таинственными записями, вроде: «Прян. 2, парт. 4», «13 утр. 2», «Мон. 77 727» и в этом роде.

Такими же знаками были исчерчены пять раскрытых блокнотов на столе. Над Филиппом Филипповичем высилось чучело бурого медведя, в глаза которого были вставлены электрические лампочки. Филипп Филиппович был огражден от внешнего мира барьером, и в любой час дня на этом барьере лежали животами люди в самых разнообразных одеждах. Здесь перед Филиппом Филипповичем проходила вся страна, это можно сказать с уверенностью;

здесь перед ним были представители всех классов, групп, прослоек, убеждений, пола, возраста. Какие-то бедно одетые гражданки в затасканных шляпах сменялись военными с петлицами разного цвета. Военные уступали место хорошо одетым мужчинам с бобровыми воротниками и крахмальными воротничками. Среди крахмальных воротничков иногда мелькала ситцевая косоворотка. Кепка на буйных кудрях. Роскошная дама с горностаем на плечах. Шапка с ушами, подбитый глаз. Подросток женского пола с напудренным носиком. Человек в болотных сапогах, в чуйке, подпоясан ремнем. Еще военный, один ромб. Какой-то бритый, с забинтованной головой. Старуха с трясущейся челюстью, мертвенными глазами и почему-то говорящая со своей спутницей по-французски, а спутница в мужских калошах. Тулуп.

Те, которые не могли лечь животом на барьер, толпились сзади, изредка поднимая вверх мятые записки, изредка робко вскрикивая: «Филипп Филиппович!» Временами в толпу, осаждавшую барьер, ввинчивались женщины или мужчины без верхнего платья, а запросто в блузочках или пиджаках, и я понимал, что это актрисы и актеры Независимого Театра.

Но кто бы ни шел к барьеру, все, за редчайшими исключениями, имели вид льстивый, улыбались заискивающе. Все пришедшие просили у Филиппа Филипповича, все зависели от его ответа.

Три телефона звенели, не умолкая никогда, и иногда оглашали грохотом кабинетик сразу все три. Филиппа Филипповича это нисколько не смущало. Правой рукой он брал трубку правого телефона, клал ее на плечо и прижимал щекою, в левую брал другую трубку и прижимал ее к левому уху, а освободив правую, ею брал одну из протягиваемых ему записок, начиная говорить сразу с тремя – в левый, в правый телефон, потом с посетителем, потом опять в левый, в правый, с посетителем. В правый, с посетителем, в левый, левый, правый, правый.

Сразу сбрасывал обе трубки на рычаги, и так как освобождались обе руки, то брал две записки. Отклонив одну из них, он снимал трубку с желтого телефона, слушал мгновение, говорил: «Позвоните завтра в три», – вешал трубку, посетителю говорил: «Ничего не могу».

С течением времени я начал понимать, чего просили у Филиппа Филипповича. У него просили билетов.

У него просили билетов в самой разнообразной форме. Были такие, которые говорили, что приехали из Иркутска и уезжают ночью и не могут уехать, не повидав «Бесприданницы». Кто-то говорил, что он экскурсовод из Ялты. Представитель какой-то делегации. Кто-то не экскурсовод и не сибиряк и никуда не уезжает, а просто говорил: «Петухов, помните?» Актрисы и актеры говорили: «Филя, а Филя, устрой...» Кто-то говорил: «В любую цену, цена мне безразлична...»

– Зная Ивана Васильевича двадцать восемь лет, – вдруг шамкала какая-то старуха, у которой моль выела на берете дыру, – я уверена, что он не откажет мне...

– Дам постоять, – внезапно вдруг говорил Филипп Филиппович и, не ожидая дальнейших слов ошеломленной старухи, протягивал ей какой-то кусочек бумаги.

– Нас восемь человек, – начинал какой-то крепыш, и опять-таки дальнейшие слова застревали у него в устах, ибо Филя уже говорил:

– На свободные! – и протягивал бумажку.

– Я от Арнольда Арнольдовича, – начинал какой-то молодой человек, одетый с претензией на роскошь.

«Дам постоять», – мысленно подсказывал я и не угадывал.

– Ничего не могу-с, – внезапно отвечал Филя, один только раз скользнув глазом по лицу молодого человека.

– Но Арнольд...

– Не могу-с!

И молодой человек исчезал, словно проваливался сквозь землю.

– Мы с женою... – начинал полный гражданин.

– На завтра? – спрашивал Филя отрывисто и быстро.

– Слушаю.

– В кассу! – восклицал Филя, и полный протискивался вон, имея в руках клок бумажки, а Филя в это время уже кричал в телефон: «Нет! Завтра!» – в то же время левым глазом читая поданную бумажку.

С течением времени я понял, что он руководится вовсе не внешним видом людей и, конечно, не их засаленными бумажками. Были скромно, даже бедно одетые люди, которые внезапно для меня получали два бесплатных места в четвертом ряду, и были какие-то хорошо одетые, которые уходили ни с чем. Люди приносили громадные красивые мандаты из Астрахани, Евпатории, Вологды, Ленинграда, и они не действовали или могли подействовать только через пять дней утром, а приходили иногда скромные и молчаливые люди и вовсе ничего не говорили, а только протягивали руку через барьер и тут же получали место.

Умудрившись, я понял, что передо мною человек, обладающий совершенным знанием людей. Поняв это, я почувствовал волнение и холодок под сердцем. Да, передо мною был величайший сердцеведец. Он знал людей до самой их сокровенной глубины. Он угадывал их тайные желания, ему были открыты их страсти, пороки, все знал, что было скрыто в них, но также и доброе. А главное, он знал их права. Он знал, кто и когда должен прийти в Театр, кто имел право сидеть в четвертом ряду, а кто должен был томиться в ярусе, присаживаясь на приступочке в бредовой надежде, что как-нибудь вдруг освободится для него волшебным образом местечко.

Я понял, что школа Филиппа Филипповича была школой величайшей.

Да и как же ему было не узнать людей, когда перед ним за пятнадцать лет его службы прошли десятки тысяч людей. Среди них были инженеры, хирурги, актеры, женорганизаторы, растратчики, домашние хозяйки, машинисты, учителя, меццо-сопрано, застройщики, гитаристы, карманные воры, дантисты, пожарные, девицы без определенных занятий, фотографы, плановики, летчики, пушкинисты, председатели колхозов, тайные кокотки, беговые наездники, монтеры, продавщицы универсальных магазинов, студенты, парикмахеры, конструкторы, лирики, уголовные преступники, профессора, бывшие домовладельцы, пенсионерки, сельские учителя, виноделы, виолончелисты, фокусники, разведенные жены, заведующие кафе, игроки в покер, гомеопаты, аккомпаниаторы, графоманы, билетерши консерватории, химики, дирижеры, легкоатлеты, шахматисты, лаборанты, проходимцы, бухгалтеры, шизофреники, дегустаторы, маникюрши, счетоводы, бывшие священнослужители, спекулянты, фототехники.

Зачем же надобны были бумажки Филиппу Филипповичу?

Одного взгляда и первых слов появившегося перед ним ему было достаточно, чтобы знать, на что тот имеет право, и Филипп Филиппович давал ответы, и были эти ответы всегда безошибочны.

– Я, – волнуясь, говорила дама, – вчера купила два билета на «Дона Карлоса», положила в сумочку, прихожу домой...

Но Филипп Филиппович уже жал кнопку звонка и, не глядя более на даму, говорил:

– Баквалин! Потеряны два билета... ряд?

– Одиннадц...

– В одиннадцатом ряду. Впустить. Посадить... Проверить!

– Слушаю! – гаркал Баквалин, и не было уже дамы, и кто-то уже наваливался на барьер, хрипел, что он завтра уезжает.

– Так делать не годится! – озлобленно утверждала дама, и глаза ее сверкали. – Ему уже шестнадцать! Нечего смотреть, что он в коротких штанах...

– Мы не смотрим, сударыня, кто в каких штанах, – металлически отвечал Филя, – по закону дети до пятнадцати лет не допускаются. Посиди здесь, сейчас, – говорил он в это же время интимно бритому актеру.

– Позвольте, – кричала скандальная дама, – и тут же рядом пропускают трех малюток в длинных клешах. Я жаловаться буду!

– Эти малютки, сударыня, – отвечал Филя, – были костромские лилипуты.

Наставало полное молчание. Глаза дамы потухали, Филя тогда, оскалив зубы, улыбался так, что дама вздрагивала. Люди, мнущие друг друга у барьера, злорадно хихикали.

Актер с побледневшим лицом, со страдальческими, помутневшими глазами, вдруг наваливался сбоку на барьер, шептал:

– Дикая мигрень...

Филя, не удивляясь, не оборачиваясь, протягивал руку назад, открывал настенный шкафик, на ощупь брал коробочку, из нее вынимал пакетик, протягивал страдальцу, говорил:

– Водой запей... Слушаю вас, гражданка.

Слезы выступали у гражданки, шляпка съезжала на ухо. Горе дамы было велико. Она сморкалась в грязный платочек. Оказывается, вчера, все с того же «Дон Карлоса» пришла домой, ан сумочки-то и нет. В сумочке же было сто семьдесят пять рублей, пудреница и носовой платок.

– Очень плохо, гражданка, – сурово говорил Филя, – деньги надо на сберкнижке держать, а не в сумочке.

Дама таращила глаза на Филю. Она не ожидала, что к ее горю отнесутся с такой черствостью.

Но Филя тут же с грохотом выдвигал ящик стола, и через мгновение измятая сумочка с пожелтевшей металлической наядой была уже у дамы в руках. Та лепетала слова благодарности.

– Покойник прибыл, Филипп Филиппович, – докладывал Баквалин.

В ту же минуту лампа гасла, ящики с грохотом закрывались, торопливо натягивая пальто, Филя протискивался сквозь толпу и выходил. Как зачарованный, я плелся за ним. Ударившись головой об стенку на повороте лестницы, выходил во двор. У дверей конторы стоял грузовик, обвитый красной лентой, и на грузовике лежал, глядя на осеннее небо закрытыми глазами, пожарный. Каска сверкала у него в ногах, а в головах лежали еловые ветви. Филя без шапки, с торжественным лицом, стоял у грузовика и беззвучно отдавал какие-то приказания Кускову, Баквалину и Клюквину.

Грузовик дал сигнал и выехал на улицу. Тут же из подъезда театра раздавались резкие звуки тромбонов. Публика с вялым изумлением останавливалась, останавливался и грузовик. В подъезде театра виден был бородатый человек в пальто, размахивающий дирижерской палочкой. Повинуясь ей, несколько сверкавших труб громкими звуками оглашали улицу. Потом звуки обрывались так же внезапно, как и начинались, и золотые раструбы и русая эспаньолка скрывались в подъезде.

Кусков вскакивал в грузовик, трое пожарных становились по углам гроба, и, провожаемый напутственным Филиным жестом, грузовик уезжал в крематорий, а Филя возвращался в контору.

Громаднейший город пульсирует, и всюду в нем волны – прильет и отольет. Иногда слабела без всякой видимой причины волна Филиных посетителей, и Филя позволял себе откинуться в кресле, кой с кем и пошутить, размяться.

– А меня к тебе прислали, – говорил актер какого-то другого театра.

– Нашли, кого прислать, – бузотера, – отвечал Филя, смеясь одними щеками (глаза Фили никогда не смеялись).

В Филину дверь входила очень хорошенькая дама в великолепно сшитом пальто и с черно-бурой лисой на плечах. Филя приветливо улыбался даме и кричал:

– Бонжур, Мисси!

Дама радостно смеялась в ответ. Вслед за дамой в комнату входил развинченной походкой, в матросской шапке, малый лет семи с необыкновенно надменной физиономией, вымазанной соевым шоколадом, и с тремя следами от ногтей под глазом. Малый тихо икал через правильные промежутки времени. За малым входила полная и расстроенная дама.

– Фуй, Альёша! – восклицала она с немецким акцентом.

– Амалия Иванна! – тихо и угрожающе говорил малый, исподтишка показывая Амалии Ивановне кулак.

– Фуй, Альёшь! – тихо говорила Амалия Ивановна.

– А, здорово! – восклицал Филя, протягивая малому руку. Тот, икнув, кланялся и шаркал ногой.

– Фуй, Альёшь! – шептала Амалия Ивановна.

– Что же это у тебя под глазом? – спрашивал Филя.

– Я, – икая, шептал малый, повесив голову, – с Жоржем подрался...

– Фуй, Альёша, – одними губами и совершенно механически шептала Амалия Ивановна.

– Сэ доммаж![2] – рявкал Филя и вынимал из стола шоколадку.

Мутные от шоколада глаза малого на минуту загорались огнем, он брал шоколадку.

– Альёша, ти съел сегодня читирнадцать, – робко шептала Амалия Ивановна.

– Не врите, Амалия Ивановна, – думая, что говорит тихо, гудел малый.

– Фуй, Альёша!..

– Филя, вы меня совсем забыли, гадкий! – тихо восклицала дама.

– Нон, мадам, энпоссибль! – рявкал Филя. – Мэ ле заффер тужур![3]

Дама смеялась журчащим смехом, била Филю перчаткой по руке.

– Знаете что, – вдохновенно говорила дама, – Дарья моя сегодня испекла пирожки, приходите ужинать. А?

– Авек плезир![4] – восклицал Филя и в честь дамы зажигал глаза медведя.

– Как вы меня испугали, противный Филька! – восклицала дама.

– Альёша! Погляди, какой медведь, – искусственно восторгалась Амалия Ивановна, – якоби живой!

– Пустите! – орал малый и рвался к барьеру.

– Фуй, Альёша...

– Захватите с собой Аргунина, – восклицала как бы осененная вдохновением дама.

– Иль жу![5]

– Пусть после спектакля приезжает, – говорила дама, поворачиваясь спиной к Амалии Ивановне.

– Же транспорт люи[6] .

– Ну, милый, вот и хорошо. Да, Филенька, у меня к вам просьба. Одну старушку не можете ли вы устроить куда-нибудь на «Дон-Карлоса»? А? Хоть в ярус? А, золотко?

– Портниха? – спрашивал Филя, всепонимающими глазами глядя на даму.

– Какой вы противный! – восклицала дама. – Почему непременно портниха? Она вдова профессора и теперь...

– Шьет белье, – как бы во сне говорил Филя, вписывая в блокнот: «Белошвей. Ми, боков, яр. 13-го».

– Как вы догадались! – хорошея, восклицала дама.

– Филипп Филиппович, вас в дирекцию к телефону, – рявкал Баквалин.

– Сейчас!

– А я пока мужу позвоню, – говорила дама.

Филя выскакивал из комнаты, а дама брала трубку, набирала номер.

– Кабинет заведующего. Ну, как у тебя? А к нам я сегодня Филю позвала пирожки есть. Ну, ничего. Ты поспи часок... Да, еще Аргунин напросился... Ну, неудобно же мне... Ну, прощай, золотко. А что у тебя голос какой-то расстроенный? Ну, целую.

Я, вдавившись в клеенчатую спинку дивана и закрывая глаза, мечтал: «О, какой мир... мир наслаждения, спокойствия...» Мне представлялась квартира этой неизвестной дамы. Мне казалось почему-то, что это огромная квартира, что в белой необъятной передней на стене висит в золотой раме картина, что в комнатах всюду блестит паркет. Что в средней рояль, что громадный ков...

Мечтания мои прервал вдруг тихий стон и утробное ворчание. Я открыл глаза.

Малый, бледный смертельной бледностью, закатив глаза под лоб, сидел на диване, растопырив ноги на полу. Дама и Амалия Ивановна кинулись к нему. Дама побледнела.

– Алеша! – вскричала дама. – Что с тобой?!

– Фуй, Альёша! Что с тобой?! – воскликнула и Амалия Ивановна.

– Голова болит, – вибрирующим слабым баритоном ответил малый, и шапка его съехала на глаза. Он вдруг надул щеки и еще более побледнел.

– О Боже! – вскричала дама.

Через несколько минут во двор влетел открытый таксомотор, в котором, стоя, летел Баквалин.

Малого, вытирая ему рот платком, под руки вели из конторы.

О, чудный мир конторы! Филя! Прощайте! Меня скоро не будет. Вспомните же меня и вы!

Глава 12
СИВЦЕВ ВРАЖЕК

Я и не заметил, как мы с Торопецкой переписали пьесу. И не успел я подумать, что будет теперь далее, как судьба сама подсказала это.

Клюквин привез мне письмо.

«Глубочайше уважаемый
Леонтий Сергеевич!..»

Почему, черт возьми, им хочется, чтобы я был Леонтием Сергеевичем? Вероятно, это удобнее выговаривать, чем Сергей Леонтьевич?.. Впрочем, это не важно!

«...Вы должны читать Вашу пиэсу Ивану Васильевичу. Для этого Вам надлежит прибыть в Сивцев Вражек 13-го в понедельник в 12 часов дня.
Глубоко преданный
Фома Стриж».

Я взволновался чрезвычайно, понимая, что письмо это исключительной важности.

Я решил так: крахмальный воротник, галстук синий, костюм серый. Последнее решить было нетрудно, ибо серый костюм был моим единственным приличным костюмом.

Держаться вежливо, но с достоинством и, Боже сохрани, без намека на угодливость.

Тринадцатое, как хорошо помню, было на другой день, и утром я повидался в театре с Бомбардовым.

Наставления его показались мне странными до чрезвычайности.

– Как пройдете большой серый дом, – говорил Бомбардов, – повернете налево, в тупичок. Тут уж легко найдете. Ворота резные, чугунные, дом с колоннами. С улицы входа нету, а поверните за угол во дворе. Там увидите человека в тулупе, он у вас спросит: «Вы зачем?» – а вы ему скажите только одно слово: «Назначено».

– Это пароль? – спросил я. – А если человека не будет?

– Он будет, – сказал холодно Бомбардов и продолжал: – За углом, как раз напротив человека в тулупе, вы увидите автомобиль без колес на домкрате, а возле него ведро и человека, который моет автомобиль.

– Вы сегодня там были? – спросил я в волнении.

– Я был там месяц тому назад.

– Так почем же вы знаете, что человек будет мыть автомобиль?

– Потому, что он каждый день его моет, сняв колеса.

– А когда же Иван Васильевич ездит в нем?

– Он никогда в нем и не ездит.

– Почему?

– А куда же он будет ездить?

– Ну, скажем, в театр?

– Иван Васильевич в театр приезжает два раза в год на генеральные репетиции, и тогда ему нанимают извозчика Дрыкина.

– Вот тебе на! Зачем же извозчик, если есть автомобиль?

– А если шофер умрет от разрыва сердца за рулем, а автомобиль возьмет да и въедет в окно, тогда что прикажете делать?

– Позвольте, а если лошадь понесет?

– Дрыкинская лошадь не понесет. Она только шагом ходит. Напротив же как раз человека с ведром – дверь. Войдите и подымайтесь по деревянной лестнице. Потом еще дверь. Войдите. Там увидите черный бюст Островского. А напротив беленькие колонны и черная-пречерная печка, возле которой сидит на корточках человек в валенках и топит ее.

Я рассмеялся.

– Вы уверены, что он непременно будет и непременно на корточках?

– Непременно, – сухо ответил Бомбардов, ничуть не смеясь.

– Любопытно проверить!

– Проверьте. Он спросит тревожно: «Вы куда?» А вы ответьте...

– Назначено?

– Угу. Тогда он вам скажет: «Пальтецо снимите здесь», – и вы попадете в переднюю, и тут выйдет к вам фельдшерица и спросит: «Вы зачем?» И вы ответите...

Я кивнул головой.

– Иван Васильевич вас спросит первым долгом, кто был ваш отец. Он кто был?

– Вице-губернатор.

Бомбардов сморщился.

– Э... нет, это, пожалуй, не подходит. Нет, нет. Вы скажите так: служил в банке.

– Вот уж это мне не нравится. Почему я должен врать с первого же момента?

– А потому что это может его испугать, а...

Я только моргал глазами.

– ...а вам все равно, банк ли или что другое. Потом он спросит, как вы относитесь к гомеопатии. А вы скажите, что принимали капли от желудка в прошлом году и они вам очень помогли.

Тут прогремели звонки, Бомбардов заторопился, ему нужно было идти на репетицию, и дальнейшие наставления он давал сокращенно.

– Мишу Панина вы не знаете, родились в Москве, – скороговоркой сообщал Бомбардов, – насчет Фомы скажите, что он вам не понравился. Когда будете насчет пьесы говорить, то не возражайте. Там выстрел в третьем акте, так вы его не читайте...

– Как не читать, когда он застрелился?!

Звонки повторились. Бомбардов бросился бежать в полутьму, издали донесся его тихий крик:

– Выстрела не читайте! И насморка у вас нет!

Совершенно ошеломленный загадками Бомбардова, я минута в минуту в полдень был в тупике на Сивцевом Вражке.

Во дворе мужчины в тулупе не было, но как раз на том месте, где Бомбардов и говорил, стояла баба в платке. Она спросила: «Вам чего?» – и подозрительно поглядела на меня. Слово «назначено» совершенно ее удовлетворило, и я повернул за угол. Точка в точку в том месте, где было указано, стояла кофейного цвета машина, но на колесах, и человек тряпкой вытирал кузов. Рядом с машиной стояло ведро и какая-то бутыль.

Следуя указаниям Бомбардова, я шел безошибочно и попал к бюсту Островского. «Э...» – подумал я, вспомнив Бомбардова: в печке весело пылали березовые дрова, но никого на корточках не было. Но не успел я усмехнуться, как старинная дубовая темнолакированная дверь открылась и из нее вышел старикашка с кочергой в руках и в заплатанных валенках. Увидев меня, он испугался и заморгал глазами. «Вам что, гражданин?» – спросил он. «Назначено», – ответил я, упиваясь силой магического слова. Старикашка посветлел и махнул кочергой в направлении другой двери. Там горела старинная лампочка под потолком. Я снял пальто, под мышку взял пьесу, стукнул в дверь. Тотчас за дверью послышался звук снимаемой цепи, потом повернулся ключ в дверях, и выглянула женщина в белой косынке и белом халате. «Вам что?» – спросила она. «Назначено», – ответил я. Женщина посторонилась, пропустила меня внутрь и внимательно поглядела на меня.

– На дворе холодно? – спросила она.

– Нет, хорошая погода, бабье лето, – ответил я.

– Насморка у вас нету? – спросила женщина.

Я вздрогнул, вспомнив Бомбардова, и сказал:

– Нет, нету.

– Постучите сюда и входите, – сурово сказала женщина и скрылась. Перед тем как стукнуть в темную, окованную металлическими полосами дверь, я огляделся.

Белая печка, громадные шкафы какие-то. Пахло мятой и еще какой-то приятной травой. Стояла полная тишина, и она вдруг прервалась боем хриплым. Било двенадцать раз, и затем тревожно прокуковала кукушка за шкафом.

Я стукнул в дверь, потом нажал рукой на громадное тяжкое кольцо, дверь впустила меня в большую светлую комнату.

Я волновался, я ничего почти не разглядел, кроме дивана, на котором сидел Иван Васильевич. Он был точно такой же, как на портрете, только немножко свежее и моложе. Черные его, чуть тронутые проседью, усы были прекрасно подкручены. На груди, на золотой цепи, висел лорнет.

Иван Васильевич поразил меня очаровательностью своей улыбки.

– Очень приятно, – молвил он, чуть картавя, – прошу садиться.

И я сел в кресло.

– Ваше имя и отчество? – ласково глядя на меня, спросил Иван Васильевич.

– Сергей Леонтьевич.

– Очень приятно! Ну-с, как изволите поживать, Сергей Пафнутьевич? – И, ласково глядя на меня, Иван Васильевич побарабанил пальцами по столу, на котором лежал огрызок карандаша и стоял стакан с водой, почему-то накрытый бумажкою.

– Покорнейше благодарю вас, хорошо.

– Простуды не чувствуете?

– Нет.

Иван Васильевич как-то покряхтел и спросил:

– А здоровье вашего батюшки как?

– Мой отец умер.

– Ужасно, – ответил Иван Васильевич, – а к кому обращались? Кто лечил?

– Не могу сказать точно, но, кажется, профессор... профессор Янковский.

– Это напрасно, – отозвался Иван Васильевич, – нужно было обратиться к профессору Плетушкову, тогда бы ничего не было.

Я выразил на своем лице сожаление, что не обратились к Плетушкову.

– А еще лучше... гм... гм... гомеопаты, – продолжал Иван Васильевич, – прямо до ужаса всем помогают. – Тут он кинул беглый взгляд на стакан. – Вы верите в гомеопатию?

«Бомбардов – потрясающий человек», – подумал я и начал что-то неопределенно говорить:

– С одной стороны, конечно... Я лично... хотя многие и не верят...

– Напрасно! – сказал Иван Васильевич, – пятнадцать капель, и вы перестанете что-нибудь чувствовать. – И опять он покряхтел и продолжал: – А ваш батюшка, Сергей Панфилыч, кем был?

– Сергей Леонтьевич, – ласково сказал я.

– Тысячу извинений! – воскликнул Иван Васильевич. – Так он кем был?

«Да не стану я врать!» – подумал я и сказал:

– Он служил вице-губернатором.

Это известие согнало улыбку с лица Ивана Васильевича.

– Так, так, так, – озабоченно сказал он, помолчал, побарабанил и сказал: – Ну-с, приступим.

Я развернул рукопись, кашлянул, обмер, еще раз кашлянул и начал читать.

Я прочел заглавие, потом длинный список действующих лиц и приступил к чтению первого акта:

– «Огоньки вдали, двор, засыпанный снегом, дверь флигеля. Из флигеля глухо слышен „Фауст“, которого играют на рояли...»

Приходилось ли вам когда-либо читать пьесу один на один кому-нибудь? Это очень трудная вещь, уверяю вас. Я изредка поднимал глаза на Ивана Васильевича, вытирал лоб платком.

Иван Васильевич сидел совершенно неподвижно и смотрел на меня в лорнет, не отрываясь. Смутило меня чрезвычайно то обстоятельство, что он ни разу не улыбнулся, хотя

уже в первой картине были смешные места. Актеры очень смеялись, слыша их на чтении, а один рассмеялся до слез.

Иван же Васильевич не только не смеялся, но даже перестал крякать. И всякий раз, как я поднимал на него взор, видел одно и то же: уставившийся на меня золотой лорнет и в нем немигающие глаза. Вследствие этого мне стало казаться, что смешные эти места вовсе не смешны.

Так я дошел до конца первой картины и приступил ко второй. В полной тишине слышался только мой монотонный голос, было похоже, что дьячок читает по покойнику.

Мною стала овладевать какая-то апатия и желание закрыть толстую тетрадь. Мне казалось, что Иван Васильевич грозно скажет: «Кончится ли это когда-нибудь?» Голос мой охрип, я изредка прочищал горло кашлем, читал то тенором, то низким басом, раза два вылетели неожиданные петухи, но и они никого не рассмешили – ни Ивана Васильевича, ни меня.

Некоторое облегчение внесло внезапное появление женщины в белом. Она бесшумно вошла, Иван Васильевич быстро посмотрел на часы. Женщина подала Ивану Васильевичу рюмку, Иван Васильевич выпил лекарство, запил его водою из стакана, закрыл его крышечкой и опять поглядел на часы. Женщина поклонилась Ивану Васильевичу древнерусским поклоном и надменно ушла.

– Ну-с, продолжайте, – сказал Иван Васильевич, и я опять начал читать. Далеко прокричала кукушка. Потом где-то за ширмами прозвенел телефон. – Извините, – сказал Иван Васильевич, – это меня зовут по важнейшему делу из учреждения. – Да, – послышался его голос из-за ширм, – да... Гм... гм... Это все шайка работает. Приказываю держать все это в строжайшем секрете. Вечером у меня будет один верный человек, и мы разработаем план...

Иван Васильевич вернулся, и мы дошли до конца пятой картины. И тут в начале шестой произошло поразительное происшествие. Я уловил ухом, как где-то хлопнула дверь, послышался где-то громкий и, как мне показалось, фальшивый плач, дверь, не та, в которую я вошел, а, по-видимому, ведущая во внутренние покои, распахнулась, и в комнату влетел, надо полагать осатаневший от страху, жирный полосатый кот. Он шарахнулся мимо меня к тюлевой занавеске, вцепился в нее и полез вверх. Тюль не выдержал его тяжести, и на нем тотчас появились дыры. Продолжая раздирать занавеску, кот долез до верху и оттуда оглянулся с остервенелым видом. Иван Васильевич уронил лорнет, и в комнату вбежала Людмила Сильвестровна Пряхина. Кот, лишь только ее увидел, сделал попытку полезть еще выше, но дальше был потолок. Животное сорвалось с круглого карниза и повисло, закоченев, на занавеске.

Пряхина вбежала с закрытыми глазами, прижав кулак со скомканным и мокрым платком ко лбу, а в другой руке держа платок кружевной, сухой и чистый. Добежав до середины комнаты, она опустилась на одно колено, наклонила голову и руку протянула вперед, как бы пленник, отдающий меч победителю.

– Я не сойду с места, – прокричала визгливо Пряхина, – пока не получу защиты, мой учитель! Пеликан – предатель! Бог все видит, все!

Тут тюль хрустнул, и под котом расплылась полуаршинная дыра.

– Брысь!! – вдруг отчаянно крикнул Иван Васильевич и захлопал в ладоши.

Кот сполз с занавески, распоров ее донизу, и выскочил из комнаты, а Пряхина зарыдала громовым голосом и, закрыв глаза руками, вскричала, давясь в слезах:

– Что я слышу?! Что я слышу?! Неужели мой учитель и благодетель гонит меня?! Боже, Боже!! Ты видишь?!

– Оглянитесь, Людмила Сильвестровна! – отчаянно закричал Иван Васильевич, и тут еще в дверях появилась старушка, которая крикнула:

– Милочка! Назад! Чужой!..

Тут Людмила Сильвестровна открыла глаза и увидела мой серый костюм в сером кресле. Она выпучила глаза на меня, и слезы, как мне показалось, в мгновенье ока высохли на ней. Она вскочила с колен, прошептала: «Господи...» – и кинулась вон. Тут же исчезла и старушка, и дверь закрылась.

Мы помолчали с Иваном Васильевичем. После долгой паузы он побарабанил пальцами по столу.

– Ну-с, как вам понравилось? – спросил он и добавил тоскливо: – Пропала занавеска к черту.

Еще помолчали.

– Вас, конечно, поражает эта сцена? – осведомился Иван Васильевич и закряхтел.

Закряхтел и я и заерзал в кресле, решительно не зная, что ответить, – сцена меня нисколько не поразила. Я прекрасно понял, что это продолжение той сцены, что была в предбаннике, и что Пряхина исполнила свое обещание броситься в ноги Ивану Васильевичу.

– Это мы репетировали, – вдруг сообщил Иван Васильевич, – а вы, наверное, подумали, что это просто скандал! Каково? А?

– Изумительно, – сказал я, пряча глаза.

– Мы любим так иногда внезапно освежить в памяти какую-нибудь сцену... гм... гм... этюды очень важны. А насчет Пеликана вы не верьте. Пеликан – доблестнейший и полезнейший человек!..

Иван Васильевич поглядел тоскливо на занавеску и сказал:

– Ну-с, продолжим!

Продолжить мы не могли, так как вошла та самая старушка, что была в дверях.

– Тетушка моя, Настасья Ивановна, – сказал Иван Васильевич.

Я поклонился. Приятная старушка посмотрела на меня ласково, села и спросила:

– Как ваше здоровье?

– Благодарю вас покорнейше, – кланяясь, ответил я, – я совершенно здоров.

Помолчали, причем тетушка и Иван Васильевич поглядели на занавеску и обменялись горьким взглядом.

– Зачем изволили пожаловать к Ивану Васильевичу?

– Леонтий Сергеевич, – отозвался Иван Васильевич, – пьесу мне принес.

– Чью пьесу? – спросила старушка, глядя на меня печальными глазами.

– Леонтий Сергеевич сам сочинил пьесу!

– А зачем? – тревожно спросила Настасья Ивановна.

– Как зачем?.. Гм... гм...

– Разве уж и пьес не стало? – ласково-укоризненно спросила Настасья Ивановна. – Какие хорошие пьесы есть. И сколько их! Начнешь играть – в двадцать лет всех не переиграешь. Зачем же вам тревожиться сочинять?

Она была так убедительна, что я не нашелся, что сказать. Но Иван Васильевич побарабанил и сказал:

– Леонтий Леонтьевич современную пьесу сочинил!

Тут старушка встревожилась.

– Мы против властей не бунтуем, – сказала она.

– Зачем же бунтовать, – поддержал ее я.

– А «Плоды просвещения» вам не нравятся? – тревожно-робко спросила Настасья Ивановна. – А ведь какая хорошая пьеса. И Милочке роль есть... – она вздохнула, поднялась. – Поклон батюшке, пожалуйста, передайте.

– Батюшка Сергея Сергеевича умер, – сообщил Иван Васильевич.

– Царство небесное, – сказала старушка вежливо, – он, чай, не знает, что вы пьесы сочиняете? А отчего умер?

– Не того доктора пригласили, – сообщил Иван Васильевич. – Леонтий Пафнутьевич мне рассказал эту горестную историю.

– А ваше-то имечко как же, я что-то не пойму, – сказала Настасья Ивановна, – то Леонтий, то Сергей! Разве уж и имена позволяют менять? У нас один фамилию переменил. Теперь и разбери-ко, кто он такой!

– Я – Сергей Леонтьевич, – сказал я сиплым голосом.

– Тысячу извинений, – воскликнул Иван Васильевич, – это я спутал!

– Ну, не буду мешать, – отозвалась старушка.

– Кота надо высечь, – сказал Иван Васильевич, – это не кот, а бандит. Нас вообще бандиты одолели, – заметил он интимно, – уж не знаем, что и делать!

Вместе с надвигающимися сумерками наступила и катастрофа.

Я прочитал:

«Бахтин (Петрову). Ну, прощай! Очень скоро ты придешь за мною...
Петров. Что ты делаешь?!
Бахтин (стреляет себе в висок, падает, вдали послышалась гармони...)».

— Вот это напрасно! – воскликнул Иван Васильевич. – Зачем это? Это надо вычеркнуть, не медля ни секунды. Помилуйте! Зачем же стрелять?

– Но он должен кончить самоубийством, – кашлянув, ответил я.

– И очень хорошо! Пусть кончит и пусть заколется кинжалом!

– Но, видите ли, дело происходит в гражданскую войну... Кинжалы уже не применялись...

– Нет, применялись, – возразил Иван Васильевич, – мне рассказывал этот... как его... забыл... что применялись... Вы вычеркните этот выстрел!..

Я промолчал, совершая грустную ошибку, и прочитал дальше:

– «(...моника и отдельные выстрелы. На мосту появился человек с винтовкой в руке. Луна...)»

— Боже мой! – воскликнул Иван Васильевич. – Выстрелы! Опять выстрелы! Что за бедствие такое! Знаете что, Лео... знаете что, вы эту сцену вычеркните, она лишняя.

– Я считал, – сказал я, стараясь говорить как можно мягче, – эту сцену главной... Тут, видите ли...

– Форменное заблуждение! – отрезал Иван Васильевич. – Эта сцена не только не главная, но ее вовсе не нужно. Зачем это? Ваш этот, как его?..

– Бахтин.

– Ну да... ну да, вот он закололся там вдали, – Иван Васильевич махнул рукой куда-то очень далеко, – а приходит домой другой и говорит матери – Бехтеев закололся!

– Но матери нет, – сказал я, ошеломленно глядя на стакан с крышечкой.

– Нужно обязательно! Вы напишите ее. Это нетрудно. Сперва кажется, что трудно – не было матери, и вдруг она есть, – но это заблуждение, это очень легко. И вот старушка рыдает дома, а который принес известие... Назовите его Иванов...

– Но ведь Бахтин герой! У него монологи на мосту... Я полагал...

– А Иванов и скажет все его монологи!.. У вас хорошие монологи, их нужно сохранить. Иванов и скажет – вот Петя закололся и перед смертью сказал то-то, то-то и то-то... Очень сильная сцена будет.

– Но как же быть, Иван Васильевич, ведь у меня же на мосту массовая сцена... там столкнулись массы...

– А они пусть за сценой столкнутся. Мы этого видеть не должны ни в коем случае. Ужасно, когда они на сцене сталкиваются! Ваше счастье, Сергей Леонтьевич, – сказал Иван Васильевич, единственный раз попав правильно, – что вы не изволите знать некоего Мишу Панина!.. (Я похолодел.) Это, я вам скажу, удивительная личность! Мы его держим на черный день, вдруг что-нибудь случится, тут мы его и пустим в ход... Вот он нам пьесочку тоже доставил, удружил, можно сказать, – «Стенька Разин». Я приехал в театр, подъезжаю, издали еще слышу, окна были раскрыты, – грохот, свист, крики, ругань, и палят из ружей! Лошадь едва не понесла, я думал, что бунт в театре! Ужас! Оказывается, это Стриж репетирует! Я говорю Августе Авдеевне: вы, говорю, куда же смотрели? Вы, спрашиваю, хотите, чтобы меня расстреляли самого? А ну как Стриж этот спалит театр, ведь меня по головке не погладят, не правда ли-с? Августа Авдеевна, на что уж доблестная женщина, отвечает: «Казните меня, Иван Васильевич, ничего со Стрижем сделать не могу!» Этот Стриж – чума у нас в театре. Вы, если его увидите, за версту от него бегите куда глаза глядят. (Я похолодел.) Ну конечно, это все с благословения некоего Аристарха Платоныча, ну его вы не знаете, слава Богу! А вы – выстрелы! За эти выстрелы знаете, что может быть? Ну-с, продолжимте.

И мы продолжили, и, когда уже стало темнеть, я осипшим голосом произнес: «Конец». И вскоре ужас и отчаяние охватили меня, и показалось мне, что я построил домик и лишь только в него переехал, как рухнула крыша.

– Очень хорошо, – сказал Иван Васильевич по окончании чтения, – теперь вам надо начать работать над этим материалом.

Я хотел вскрикнуть: «Как?!»

Но не вскрикнул.

И Иван Васильевич, все более входя во вкус, стал подробно рассказывать, как работать над этим материалом. Сестру, которая была в пьесе, надлежало превратить в мать. Но так как у сестры был жених, а у пятидесятипятилетней матери (Иван Васильевич тут же окрестил ее Антониной) жениха, конечно, быть не могло, то у меня вылетала из пьесы целая роль, да, главное, которая мне очень нравилась.

Сумерки лезли в комнату. Побывала фельдшерица, и опять принял Иван Васильевич какие-то капли. Потом какая-то сморщенная старушка принесла настольную лампочку, и стал вечер.

В голове у меня начался какой-то кавардак. Стучали молоты в виске. От голода у меня что-то взмывало внутри, и перед глазами скашивалась временами комната. Но, главное, сцена на мосту улетала, а с нею улетал и мой герой.

Нет, пожалуй, самым главным было то, что совершается, по-видимому, какое-то недоразумение. Перед моими глазами всплывала вдруг афиша, на которой пьеса уже стояла, в кармане хрустел, как казалось мне, последний непроеденный червонец из числа полученных за пьесу, Фома Стриж как будто стоял за спиной и уверял, что пьесу выпустит через два месяца, а здесь было совершенно ясно, что пьесы вообще никакой нет и что ее нужно сочинить с самого начала и до конца заново. В диком хороводе передо мною танцевал Миша Панин, Евлампия, Стриж, картинки из предбанника, но не было пьесы.

Но дальше произошло совсем уже непредвиденное и даже, как мне казалось, немыслимое.

Показав (и очень хорошо показав), как закалывается Бахтин, которого Иван Васильевич прочно окрестил Бехтеевым, он вдруг закряхтел и повел такую речь:

– Вот вам бы какую пьесу сочинить... Колоссальные деньги можете заработать в один миг. Глубокая психологическая драма... Судьба артистки. Будто бы в некоем царстве живет артистка, и вот шайка врагов ее травит, преследует и жить не дает... А она только воссылает моления за своих врагов...

«И скандалы устраивает», – вдруг в приливе неожиданной злобы подумал я.

– Богу воссылает моления, Иван Васильевич?

Этот вопрос озадачил Ивана Васильевича. Он покряхтел и ответил:

– Богу?.. Гм... гм... Нет, ни в каком случае. Богу вы не пишите... Не Богу, а... искусству, которому она глубочайше преданна. А травит ее шайка злодеев, и подзуживает эту шайку некий волшебник Черномор. Вы напишите, что он в Африку уехал и передал свою власть некоеи даме Икс. Ужасная женщина. Сидит за конторкой и на все способна. Сядете с ней чай пить, внимательно смотрите, а то она вам такого сахару положит в чаек...

«Батюшки, да ведь это он про Торопецкую!» – подумал я.

– ...что вы хлебнете, да ноги и протянете. Она да еще ужасный злодей Стриж... то есть я... один режиссер...

Я сидел, тупо глядя на Ивана Васильевича. Улыбка постепенно сползала с его лица, и я вдруг увидел, что глаза у него совсем не ласковые.

– Вы, как видно, упрямый человек, – сказал он весьма мрачно и пожевал губами.

– Нет, Иван Васильевич, но просто я далек от артистического мира и...

– А вы его изучите! Это очень легко. У нас в театре такие персонажи, что только любуйтесь на них... Сразу полтора акта пьесы готовы! Такие расхаживают, что так и ждешь, что он или сапоги из уборной стянет, или финский нож вам в спину всадит.

– Это ужасно, – произнес я больным голосом и тронул висок.

– Я вижу, что вас это не увлекает... Вы человек неподатливый! Впрочем, ваша пьеса тоже хорошая, – молвил Иван Васильевич, пытливо всматриваясь в меня, – теперь только стоит ее сочинить, и все будет готово...

На гнущихся ногах, со стуком в голове я выходил и с озлоблением глянул на черного Островского. Я что-то бормотал, спускаясь по скрипучей деревянной лестнице, и ставшая ненавистной пьеса оттягивала мне руки.

Ветер рванул с меня шляпу при выходе во двор, и я поймал ее в луже. Бабьего лета не было и в помине. Дождь брызгал косыми струями, под ногами хлюпало, мокрые листья срывались с деревьев в саду. Текло за воротник.

Шепча какие-то бессмысленные проклятия жизни себе, я шел, глядя на фонари, тускло горящие в сетке дождя.

На углу какого-то переулка слабо мерцал огонек в киоске. Газеты, придавленные кирпичами, мокли на прилавке, и неизвестно зачем я купил журнал «Лик Мельпомены» с нарисованным мужчиной в трико в обтяжку, с перышком в шапочке и наигранными подрисованными глазами.

Удивительно омерзительной показалась мне моя комната. Я швырнул разбухшую от воды пьесу на пол, сел к столу и придавил висок рукой, чтобы он утих. Другой рукою я отщипывал кусочки черного хлеба и жевал их.

Сняв руку с виска, я стал перелистывать отсыревший «Лик Мельпомены». Видна была какая-то девица в фижмах, мелькнул заголовок «Обратить внимание», другой – «Распоясавшийся тенор ди грациа», и вдруг мелькнула моя фамилия. Я до такой степени удивился, что у меня даже прошла голова. Вот фамилия мелькнула еще и еще, а потом мелькнул и Лопе де Вега. Сомнений не было, передо мною был фельетон «Не в свои сани», и

героем этого фельетона был я. Я забыл, в чем была суть фельетона. Помнится смутно его начало:

«На Парнасе было скучно.
– Чтой-то новенького никого нет, – зевая, сказал Жан-Батист Мольер.
– Да, скучновато, – отозвался Шекспир...»

Помнится, дальше открывалась дверь, и входил я – черноволосый молодой человек с толстейшей драмой под мышкой.

Надо мною смеялись, в этом не было сомнений, – смеялись злобно все. И Шекспир, и Лопе де Вега, и ехидный Мольер, спрашивающий меня, не написал ли я чего-либо вроде «Тартюфа», и Чехов, которого я по книгам принимал за деликатнейшего человека, но резвее всех издевался автор фельетона, которого звали Волкодав.

Смешно вспоминать теперь, но озлобление мое было безгранично. Я расхаживал по комнате, чувствуя себя оскорбленным безвинно, напрасно, ни за что ни про что.

Дикие мечтания о том, чтобы застрелить Волкодава, перемежались недоуменными размышлениями о том, в чем же я виноват?

– Это афиша! – шептал я. – Но я разве ее сочинял? Вот тебе! – шептал я, и мне мерещилось, как, заливаясь кровью, передо мною валится Волкодав на пол.

Тут запахло табачным нагаром из трубки, дверь скрипнула, и в комнате оказался Ликоспастов в мокром плаще.

– Читал? – спросил он радостно. – Да, брат, поздравляю, продернули. Ну, что ж поделаешь – назвался груздем, полезай в кузов. Я как увидел, пошел к тебе, надо навестить друга, – и он повесил стоящий колом плащ на гвоздик.

– Кто это Волкодав? – глухо спросил я.

– А зачем тебе?

– Ах, ты знаешь?..

– Да ведь ты же с ним знаком.

– Никакого Волкодава не знаю!

– Ну как же не знаешь! Я же тебя и познакомил... Помнишь, на улице... Еще афиша эта смешная... Софокл...

Тут я вспомнил задумчивого толстяка, глядевшего на мои волосы... «Черные волосы!..»

– Что же я этому сукину сыну сделал? – спросил я запальчиво.

Ликоспастов покачал головою.

– Э, брат, нехорошо, нехо-ро-шо. Тебя, как я вижу, гордыня совершенно обуяла. Что же это, уж и слова никто про тебя не смей сказать? Без критики не проживешь.

– Какая это критика?! Он издевается... Кто он такой?

– Он драматург, – ответил Ликоспастов, – пять пьес написал. И славный малый, ты зря злишься. Ну, конечно, обидно ему немного. Всем обидно...

– Да ведь не я же сочинял афишу? Разве я виноват в том, что у них в репертуаре Софокл и Лопе де Вега... и...

– Ты все-таки не Софокл, – злобно ухмыльнувшись, сказал Ликоспастов, – я, брат, двадцать пять лет пишу, – продолжал он, – однако вот в Софоклы не попал, – он вздохнул.

Я почувствовал, что мне нечего говорить в ответ Ликоспастову. Нечего! Сказать так: «Не попал, потому что ты писал плохо, а я хорошо!» Можно ли так сказать, я вас спрашиваю? Можно?

Я молчал, а Ликоспастов продолжал:

– Конечно, в общественности эта афиша вызвала волнение. Меня уж многие расспрашивали. Огорчает афишка-то! Да я, впрочем, не спорить пришел, а, узнав про вторую беду твою, пришел утешить, потолковать с другом...

– Какую такую беду?!

– Да ведь Ивану-то Васильевичу пьеска не понравилась, – сказал Ликоспастов, и глаза его сверкнули, – читал ты, говорят, сегодня?

– Откуда это известно?

– Слухом земля полнится, – вздохнув, сказал Ликоспастов, вообще любивший говорить пословицами и поговорками, – ты Настасью Иванну Колдыбаеву знаешь? – И, не дождавшись моего ответа, продолжал: – Почтенная дама, тетушка Ивана Васильевича. Вся Москва ее уважает, на нее молились в свое время. Знаменитая актриса была! А у нас в доме живет портниха, Ступина Анна. Она сейчас была у Настасьи Ивановны, только что пришла. Настасья Иванна ей рассказывала. Был, говорит, сегодня у Ивана Васильевича новый какой-то, пьесу читал, черный такой, как жук (я сразу догадался, что это ты). Не понравилось, говорит, Ивану Васильевичу. Так-то. А ведь говорил я тебе тогда, помнишь, когда ты читал? Говорил, что третий акт сделан легковесно, поверхностно сделан, ты извини, я тебе пользы желаю. Не послушался ведь ты! Ну, а Иван Васильевич, он, брат, дело понимает, от него не скроешься, сразу разобрался. Ну, а раз ему не нравится, стало быть, пьеска не пойдет. Вот и выходит, что останешься ты с афишкой на руках. Смеяться будут, вот тебе и Эврипид! Да говорит Настасья Ивановна, что ты и надерзил Ивану Васильевичу? Расстроил его? Он тебе стал советы подавать, а ты в ответ, говорит Настасья Иванна, – фырк! Фырк! Ты меня прости, но это слишком! Не по чину берешь! Не такая уж, конечно, ценность (для Ивана Васильевича) твоя пьеса, чтобы фыркать...

– Пойдем в ресторанчик, – тихо сказал я, – не хочется мне дома сидеть. Не хочется.

– Понимаю! Ах, как понимаю! – воскликнул Ликоспастов. – С удовольствием. Только вот... – он беспокойно порылся в бумажнике.

– У меня есть.

Примерно через полчаса мы сидели за запятнанной скатертью у окошка ресторана «Неаполь». Приятный блондин хлопотал, уставляя столик кой-какою закускою, говорил ласково, огурцы называл «огурчики», икру – «икоркой понимаю», и так от него стало тепло и уютно, что я забыл, что на улице беспросветная мгла, и даже перестало казаться, что Ликоспастов змея.

Глава 13
Я ПОЗНАЮ ИСТИНУ

Ничего нет хуже, товарищи, чем малодушие и неуверенность в себе. Они-то и привели меня к тому, что я стал задумываться – уж не надо ли, в самом деле, сестру-невесту превратить в мать?

«Не может же, в самом деле, – рассуждал я сам с собою, – чтобы он говорил так зря? Ведь он понимает в этих делах!»

И, взяв в руки перо, я стал что-то писать на листе. Сознаюсь откровенно: получилась какая-то белиберда. Самое главное было в том, что я возненавидел непрошеную мать Антонину настолько, что, как только она появлялась на бумаге, стискивал зубы. Ну, конечно, ничего и выйти не могло. Героев своих надо любить; если этого не будет, не советую никому браться за перо – вы получите крупнейшие неприятности, так и знайте.

«Так и знайте!» – прохрипел я и, изодрав лист в клочья, дал себе слово в театр не ходить. Мучительно трудно было это исполнить. Мне же все-таки хотелось знать, чем это кончится. «Нет, пусть они меня позовут», – думал я.

Однако прошел день, прошел другой, три дня, неделя – не зовут. «Видно, прав был негодяй Ликоспастов, – думал я, – не пойдет у них пьеса. Вот тебе и афиша и „Сети Фенизы"! Ах, как мне не везет!»

Свет не без добрых людей, скажу я, подражая Ликоспастову. Как-то постучали ко мне в комнату, и вошел Бомбардов. Я обрадовался ему до того, что у меня зачесались глаза.

– Всего этого следовало ожидать, – говорил Бомбардов, сидя на подоконнике и постукивая ногой в паровое отопление, – так и вышло. Ведь я же вас предупредил?

– Но подумайте, подумайте, Петр Петрович! – восклицал я. – Как же не читать выстрел? Как же его не читать?!

– Ну, вот и прочитали! Пожалуйста, – сказал жестко Бомбардов.

– Я не расстанусь со своим героем, – сказал я злобно.

– А вы бы и не расстались...

– Позвольте!

И я, захлебываясь, рассказал Бомбардову про все: и про мать, и про Петю, который должен был завладеть дорогими монологами героя, и про кинжал, выводивший меня в особенности из себя.

– Как вам нравятся такие проекты? – запальчиво спросил я.

– Бред, – почему-то оглянувшись, ответил Бомбардов.

– Ну, так!..

– Вот и нужно было не спорить, – тихо сказал Бомбардов, – а отвечать так: очень вам благодарен, Иван Васильевич, за ваши указания, я непременно постараюсь их исполнить. Нельзя возражать, понимаете вы или нет? На Сивцев Вражке не возражают.

– То есть как это?! Никто и никогда не возражает?

– Никто и никогда, – отстукивая каждое слово, ответил Бомбардов, – не возражал, не возражает и возражать не будет.

– Что бы он ни говорил?

– Что бы ни говорил.

– А если он скажет, что мой герой должен уехать в Пензу? Или что эта мать Антонина должна повеситься? Или что она поет контральтовым голосом? Или что эта печка черного цвета? Что я должен ответить на это?

– Что печка эта черного цвета.

– Какая же она получится на сцене?

– Белая, с черным пятном.

– Что-то чудовищное, неслыханное!..

– Ничего, живем, – ответил Бомбардов.

– Позвольте! Неужели же Аристарх Платонович не может ничего ему сказать?

– Аристарх Платонович не может ему ничего сказать, так как Аристарх Платонович не разговаривает с Иваном Васильевичем с тысяча восемьсот восемьдесят пятого года.

– Как это может быть?

– Они поссорились в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году и с тех пор не встречаются, не говорят друг с другом даже по телефону.

– У меня кружится голова! Как же стоит театр?

– Стоит, как видите, и прекрасно стоит. Они разграничили сферы. Если, скажем, Иван Васильевич заинтересовался вашей пьесой, то к ней уж не подойдет Аристарх Платонович, и наоборот. Стало быть, нет той почвы, на которой они могли бы столкнуться. Это очень мудрая система.

– Господи! И, как назло, Аристарх Платонович в Индии. Если бы он был здесь, я бы к нему обратился...

– Гм, – сказал Бомбардов и поглядел в окно.

– Ведь нельзя же иметь дело с человеком, который никого не слушает!

– Нет, он слушает. Он слушает трех лиц: Гавриила Степановича, тетушку Настасью Ивановну и Августу Авдеевну. Вот три лица на земном шаре, которые могут иметь влияние на Ивана Васильевича. Если же кто-либо другой, кроме указанных лиц, вздумает повлиять на Ивана Васильевича, он добьется только того, что Иван Васильевич поступит наоборот.

– Но почему?!

– Он никому не доверяет.

– Но это же страшно!

– У всякого большого человека есть свои фантазии, – примирительно сказал Бомбардов.

– Хорошо. Я понял и считаю положение безнадежным. Раз для того, чтобы пьеса моя пошла на сцене, ее необходимо искорежить так, что в ней пропадает всякий смысл, то и не нужно, чтобы она шла! Я не хочу, чтобы публика, увидев, как человек двадцатого века, имеющий в руках револьвер, закалывается кинжалом, тыкала бы в меня пальцами!

– Она бы не тыкала, потому что не было бы никакого кинжала. Ваш герой застрелился бы, как и всякий нормальный человек.

Я притих.

– Если бы вы вели себя тихо, – продолжал Бомбардов, – слушались бы советов, согласились бы и с кинжалами, и с Антониной, то не было бы ни того, ни другого. На все существуют свои пути и приемы.

– Какие же это приемы?

– Их знает Миша Панин, – гробовым голосом ответил Бомбардов.

– А теперь, значит, все погибло? – тоскуя, спросил я.

– Трудновато, трудновато, – печально ответил Бомбардов.

Прошла еще неделя, из театра не было никаких известий.

Рана моя стала постепенно затягиваться, и единственно, что было нестерпимо, это посещение «Вестника пароходства» и необходимость сочинять очерки.

Но вдруг... О, это проклятое слово! Уходя навсегда, я уношу в себе неодолимый, малодушный страх перед этим словом. Я боюсь его так же, как слова «сюрприз», как слов «вас к телефону», «вам телеграмма» или «вас просят в кабинет». Я слишком хорошо знаю, что следует за этими словами.

Итак, вдруг и совершенно внезапно появился в моих дверях Демьян Кузьмич, расшаркался и вручил мне приглашение пожаловать завтра в четыре часа дня в театр.

Завтра не было дождя. Завтра был день с крепким осенним заморозком. Стуча каблуками по асфальту, волнуясь, я шел в театр.

Первое, что бросилось мне в глаза, это извозчичья лошадь, раскормленная, как носорог, и сухой старичок на козлах. И неизвестно почему, я понял мгновенно, что это Дрыкин. От этого я взволновался еще больше. Внутри театра меня поразило некоторое возбуждение, которое сказывалось во всем. У Фили в конторе никого не было, а все его посетители, то есть, вернее, наиболее упрямые из них, томились во дворе, ежась от холода и изредка поглядывая в окно. Некоторые даже постукивали в окошко, но безрезультатно. Я постучал в дверь, она приоткрылась, мелькнул в щели глаз Баквалина, я услышал голос Фили:

– Немедленно впустить!

И меня впустили. Томящиеся на дворе сделали попытку проникнуть за мною следом, но дверь закрылась. Грохнувшись с лесенки, я был поднят Баквалиным и попал в контору. Филя

не сидел на своем месте, а находился в первой комнате. На Филе был новый галстук, как и сейчас помню – с крапинками; Филя был выбрит как-то необыкновенно чисто.

Он приветствовал меня как-то особенно торжественно, но с оттенком некоторой грусти. Что-то в театре совершалось, и что-то, я чувствовал, как чувствует, вероятно, бык, которого ведут на заклание, важное, в чем я, вообразите, играю главную роль.

Это почувствовалось даже в короткой фразе Фили, которую он направил тихо, но повелительно Баквалину:

– Пальто примите!

Поразили меня курьеры и капельдинеры. Ни один из них не сидел на месте, а все они находились в состоянии беспокойного движения, непосвященному человеку совершенно непонятного. Так, Демьян Кузьмич рысцой пробежал мимо меня, обгоняя меня, и поднялся в бельэтаж бесшумно. Лишь только он скрылся из глаз, как из бельэтажа выбежал и вниз сбежал Кусков, тоже рысью и тоже пропал. В сумеречном нижнем фойе протрусил Клюквин и неизвестно зачем задернул занавеску на одном из окон, а остальные оставил открытыми и бесследно исчез.

Баквалин пронесся мимо по беззвучному солдатскому сукну и исчез в чайном буфете, а из чайного буфета выбежал Пакин и скрылся в зрительном зале.

– Наверх, пожалуйста, со мною, – говорил мне Филя, вежливо провожая меня.

Мы шли наверх. Еще кто-то пролетел беззвучно мимо и поднялся в ярус. Мне стало казаться, что вокруг меня бегают тени умерших.

Когда мы безмолвно подходили уже к дверям предбанника, я увидел Демьяна Кузьмича, стоящего у дверей. Какая-то фигурка в пиджачке устремилась было к двери, но Демьян Кузьмич тихонько взвизгнул и распялся на двери крестом, и фигурка шарахнулась, и ее размыло где-то в сумерках на лестнице.

– Пропустить! – шепнул Филя и исчез.

Демьян Кузьмич навалился на дверь, она пропустила меня и... еще дверь, я оказался в предбаннике, где сумерек не было. У Торопецкой на конторке горела лампа. Торопецкая не писала, а сидела, глядя в газету. Мне она кивнула головою.

А у дверей, ведущих в кабинет дирекции, стояла Менажраки в зеленом джемпере, с бриллиантовым крестиком на шее и с большой связкой блестящих ключей на кожаном лакированном поясе.

Она сказала «сюда», и я попал в ярко освещенную комнату.

Первое, что заметалось, – драгоценная мебель карельской березы с золотыми украшениями, такой же гигантский письменный стол и черный Островский в углу. Под потолком пылала люстра, на стенах пылали кенкеты. Тут мне померещилось, что из рам портретной галереи вышли портреты и надвинулись на меня. Я узнал Ивана Васильевича, сидящего на диване перед круглым столиком, на котором стояло варенье в вазочке. Узнал Княжевича, узнал по портретам еще нескольких лиц, в том числе необыкновенной представительности даму в алой блузе, в коричневом, усеянном, как звездами, пуговицами жакете, поверх которого был накинут соболий мех. Маленькая шляпка лихо сидела на седеющих волосах дамы, глаза ее сверкали под черными бровями, и сверкали пальцы, на которых были тяжелые бриллиантовые кольца.

Были, впрочем, в комнате и лица, не вошедшие в галерею. У спинки дивана стоял тот самый врач, что спасал во время припадка Милочку Пряхину, и также держал теперь в руках рюмку, а у дверей стоял с тем же выражением горя на лице буфетчик.

Большой круглый стол в стороне был покрыт невиданной по белизне скатертью. Огни играли на хрустале и фарфоре, огни мрачно отражались в нарзанных бутылках, мелькнуло что-

то красное, кажется, кетовая икра. Большое общество, раскинувшись в креслах, шевельнулось при моем входе, и в ответ мне были отвешены поклоны.

– А, Лео!.. – начал было Иван Васильевич.

– Сергей Леонтьевич, – быстро вставил Княжевич.

– Да... Сергей Леонтьевич, милости просим! Присаживайтесь, покорнейше прошу! – И Иван Васильевич крепко пожал мне руку. – Не прикажете ли закусить чего-нибудь? Может быть, угодно пообедать или позавтракать? Прошу без церемоний! Мы подождем. Ермолай Иванович у нас кудесник, стоит только сказать ему и... Ермолай Иванович, у нас найдется что-нибудь пообедать?

Кудесник Ермолай Иванович в ответ на это поступил так: закатил глаза под лоб, потом вернул их на место и послал мне молящий взгляд.

– Или, может быть, какие-нибудь напитки? – продолжал угощать меня Иван Васильевич. – Нарзану? Ситро? Клюквенного морсу? Ермолай Иванович, – сурово сказал Иван Васильевич. – У нас достаточные запасы клюквы? Прошу вас строжайше проследить за этим.

Ермолай Иванович в ответ улыбнулся застенчиво и повесил голову.

– Ермолай Иванович, впрочем... гм... гм... маг. В самое отчаянное время он весь театр поголовно осетриной спас от голоду! Иначе все бы погибли до единого человека. Актеры его обожают!

Ермолай Иванович не возгордился описанным подвигом, и, напротив, какая-то мрачная тень легла на его лицо.

Ясным, твердым, звучным голосом я сообщил, что и завтракал и обедал, и отказался в категорической форме и от нарзана и клюквы.

– Тогда, может быть, пирожное? Ермолай Иванович известен на весь мир своими пирожными!..

Но я еще более звучным и сильным голосом (впоследствии Бомбардов, со слов присутствующих, изображал меня, говоря: «Ну и голос, говорят, у вас был!» – «А что?» – «Хриплый, злобный, тонкий...») отказался и от пирожных.

– Кстати, о пирожных, – вдруг заговорил бархатным басом необыкновенно изящно одетый и причесанный блондин, сидящий рядом с Иваном Васильевичем, – помнится, как-то мы собрались у Пручевина. И приезжает сюрпризом великий князь Максимилиан Петрович... Мы обхохотались... Вы Пручевина ведь знаете, Иван Васильевич? Я вам потом расскажу этот комический случай.

– Я знаю Пручевина, – ответил Иван Васильевич, – величайший жулик. Он родную сестру донага раздел... Ну-с.

Тут дверь впустила еще одного человека, не входящего в галерею, – именно Мишу Панина. «Да, он застрелил...» – подумал я, глядя на лицо Миши.

– А! Почтеннейший Михаил Алексеевич! – вскричал Иван Васильевич, простирая руки вошедшему. – Милости просим! Пожалуйте в кресло. Позвольте вас познакомить, – отнесся Иван Васильевич ко мне, – это наш драгоценный Михаил Алексеевич, исполняющий у нас важнейшие функции. А это...

– Сергей Леонтьевич! – весело вставил Княжевич.

– Именно он!

Не говоря ничего о том, что мы уже знакомы, и не отказываясь от этого знакомства, мы с Мишей просто пожали руки друг другу.

– Ну-с, приступим! – объявил Иван Васильевич, и все глаза уставились на меня, отчего меня передернуло. – Кто желает высказаться? Ипполит Павлович!

Тут необыкновенно представительный и с большим вкусом одетый человек с кудрями вороного крыла вдел в глаз монокль и устремил на меня свой взор. Потом налил себе нарзану, выпил стакан, вытер рот шелковым платком, поколебался – выпить ли еще, выпил второй стакан и тогда заговорил.

У него был чудесный, мягкий, наигранный голос, убедительный и прямо доходящий до сердца.

– Ваш роман, Ле... Сергей Леонтьевич? Не правда ли? Ваш роман очень, очень хорош... В нем... э... как бы выразиться, – тут оратор покосился на большой стол, где стояли нарзанные бутылки, и тотчас Ермолай Иванович просеменил к нему и подал ему свежую бутылку, – исполнен психологической глубины, необыкновенно верно очерчены персонажи... Э... Что же касается описания природы, то в них вы достигли, я бы сказал, почти тургеневской высоты! – Тут нарзан вскипел в стакане, и оратор выпил третий стакан и одним движением брови выбросил монокль из глаза.

– Эти, – продолжал он, – описания южной природы... э... звездные ночи, украинские... потом шумящий Днепр... э... как выразился Гоголь... э... Чуден Днепр, как вы помните... а запахи акации... Все это сделано у вас мастерски...

Я оглянулся на Мишу Панина – тот съежился затравленно в кресле, и глаза его были страшны.

– В особенности... э... впечатляет это описание рощи... сребристых тополей листы... вы помните?

– У меня до сих пор в глазах эти картины ночи на Днепре, когда мы ездили в поездку! – сказала контральто дама в соболях.

– Кстати, о поездке, – отозвался бас рядом с Иваном Васильевичем и посмеялся: – препикантный случай вышел тогда с генерал-губернатором Дукасовым. Вы помните его, Иван Васильевич?

– Помню. Страшнейший обжора! – отозвался Иван Васильевич. – Но продолжайте.

– Ничего, кроме комплиментов... э... э... по адресу вашего романа сказать нельзя, но... вы меня простите... сцена имеет свои законы!

Иван Васильевич ел варенье, с удовольствием слушая речь Ипполита Павловича.

– Вам не удалось в вашей пьесе передать весь аромат вашего юга, этих знойных ночей. Роли оказались психологически недочерченными, что в особенности сказалось на роли Бахтина... – Тут оратор почему-то очень обиделся, даже попыхтел губами: – П... п... и я... э... не знаю, – оратор похлопал ребрышком монокля по тетрадке, и я узнал в ней мою пьесу, – ее играть нельзя... простите, – уж совсем обиженно закончил он, – простите!

Тут мы встретились взорами. И в моем говоривший прочитал, я полагаю, злобу и изумление.

Дело в том, что в романе моем не было ни акаций, ни серебристых тополей, ни шумящего Днепра, ни... словом, ничего этого не было.

«Он не читал! Он не читал моего романа, – гудело у меня в голове, – а между тем позволяет себе говорить о нем? Он плетет что-то про украинские ночи... Зачем они меня сюда позвали?!»

– Кто еще желает высказаться? – бодро спросил, оглядывая всех, Иван Васильевич.

Наступило натянутое молчание. Высказываться никто не пожелал. Только из угла донесся голос:

– Эхо-хо...

Я повернул голову и увидел в углу полного пожилого человека в темной блузе. Его лицо мне смутно припомнилось на портрете... Глаза его глядели мягко, лицо вообще выражало скуку, давнюю скуку. Когда я глянул, он отвел глаза.

– Вы хотите сказать, Федор Владимирович? – отнесся к нему Иван Васильевич.

– Нет, – ответил тот.

Молчание приобрело странный характер.

– А может быть, вам что-нибудь угодно?.. – обратился ко мне Иван Васильевич.

Вовсе не звучным, вовсе не бодрым, вовсе не ясным, я и сам это понимаю, голосом я сказал так:

– Насколько я понял, пьеса моя не подошла, и я прошу вернуть мне ее.

Эти слова вызвали почему-то волнение. Кресла задвигались, ко мне наклонился из-за спины кто-то и сказал:

– Нет, зачем же так говорить? Виноват!

Иван Васильевич посмотрел на варенье, а потом изумленно на окружающих.

– Гм... гм... – и он забарабанил пальцами, – мы дружественно говорим, что играть вашу пьесу – это значит причинить вам ужасный вред! Ужасающий вред. В особенности если за нее примется Фома Стриж. Вы сами жизни будете не рады и нас проклянете...

После паузы я сказал:

– В таком случае я прошу вернуть ее мне.

И тут я отчетливо прочел в глазах Ивана Васильевича злобу.

– У нас договорчик, – вдруг раздался голос откуда-то, и тут из-за спины врача показалось лицо Гавриила Степановича.

– Но ведь ваш театр ее не хочет играть, зачем же вам она?

Тут ко мне придвинулось лицо с очень живыми глазами в пенсне, высокий тенорок сказал:

– Неужели же вы ее понесете в театр Шлиппе? Ну, что они там наиграют? Ну, будут ходить по сцене бойкие офицерики. Кому это нужно?

– На основании существующих законоположений и разъяснений ее нельзя давать в театр Шлиппе, у нас договорчик! – сказал Гавриил Степанович и вышел из-за спины врача.

«Что происходит здесь? Чего они хотят?» – подумал я и страшное удушье вдруг ощутил в первый раз в жизни.

– Простите, – глухо сказал я, – я не понимаю. Вы играть ее не хотите, а между тем говорите, что в другой театр я ее отдать не могу. Как же быть?

Слова эти произвели удивительное действие. Дама в соболях обменялась оскорбленным взором с басом на диване. Но страшнее всех было лицо Ивана Васильевича. Улыбка слетела с него, в упор на меня смотрели злые огненные глаза.

– Мы хотим спасти вас от страшного вреда! – сказал Иван Васильевич. – От вернейшей опасности, караулящей вас за углом.

Опять наступило молчание и стало настолько томительным, что вынести его больше уж было невозможно.

Поковыряв немного обивку на кресле пальцем, я встал и раскланялся. Мне ответили поклоном все, кроме Ивана Васильевича, глядевшего на меня с изумлением. Боком я добрался до двери, споткнулся, вышел, поклонился Торопецкой, которая одним глазом глядела в «Известия», а другим на меня, Августе Менажраки, принявшей этот поклон сурово, и вышел.

Театр тонул в сумерках. В чайном буфете появились белые пятна – столики накрывали к спектаклю.

Дверь в зрительный зал была открыта, я задержался на несколько мгновений и глянул. Сцена была раскрыта вся, вплоть до кирпичной дальней стены. Сверху спускалась зеленая беседка, увитая плющом, сбоку в громадные открытые ворота рабочие, как муравьи, вносили на сцену толстые белые колонны.

Через минуту меня уже не было в театре.

Ввиду того, что у Бомбардова не было телефона, я послал ему в тот же вечер телеграмму такого содержания:

«Приходите поминки. Без вас сойду с ума, не понимаю».

Эту телеграмму у меня не хотели принимать и приняли лишь после того, как я пригрозил пожаловаться в «Вестник пароходства».

Вечером на другой день мы сидели с Бомбардовым за накрытым столом. Упоминаемая мною раньше жена мастера внесла блины.

Бомбардову понравилась моя мысль устроить поминки, понравилась и комната, приведенная в полный порядок.

– Я теперь успокоился, – сказал я после того, как мой гость утолил первый голод, – и желаю только одного – знать, что это было? Меня просто терзает любопытство. Таких удивительных вещей я еще никогда не видал.

Бомбардов в ответ похвалил блины, оглядел комнату и сказал:

– Вам бы нужно жениться, Сергей Леонтьевич. Жениться на какой-нибудь симпатичной, нежной женщине или девице.

– Этот разговор уже описан Гоголем, – ответил я, – не будем же повторяться. Скажите мне, что это было?

Бомбардов пожал плечами.

– Ничего особенного не было, было совещание Ивана Васильевича со старейшинами театра.

– Так-с. Кто эта дама в соболях?

– Маргарита Петровна Таврическая, артистка нашего театра, входящая в группу старейших или основоположников. Известна тем, что покойный Островский в тысяча восемьсот восьмидесятом году, поглядев на игру Маргариты Петровны – она дебютировала, – сказал: «Очень хорошо».

Далее я узнал у моего собеседника, что в комнате были исключительно основоположники, которые были созваны экстреннейшим образом на заседание по поводу моей пьесы, и что Дрыкина известили накануне, и что он долго чистил коня и мыл пролетку карболкой.

Спросивши о рассказчике про великого князя Максимилиана Петровича и обжору генерал-губернатора, узнал, что это самый молодой из всех основоположников.

Нужно сказать, что ответы Бомбардова отличались явной сдержанностью и осторожностью. Заметив это, я постарался нажать своими вопросами так, чтобы добиться все-таки от моего гостя не одних формальных и сухих ответов, вроде «родился тогда-то, имя и отчество такое-то», а все-таки кое-каких характеристик. Меня до глубины души интересовали люди, собравшиеся тогда в комнате дирекции. Из их характеристик должно было сплестись, как я полагал, объяснение их поведения на этом загадочном заседании.

– Так этот Горностаев (рассказчик про генерал-губернатора) актер хороший? – спросил я, наливая вина Бомбардову.

– Угу-у, – ответил Бомбардов.

– Нет, «угу-у» – это мало. Ну вот, например, насчет Маргариты Петровны известно, что Островский сказал «очень хорошо». Вот уж и какая-то зазубринка! А то что ж «угу-у». Может, Горностаев чем-нибудь себя прославил?

Бомбардов кинул исподтишка на меня настороженный взгляд, помямлил как-то...

– Что бы вам по этому поводу сказать? Гм, гм... – И, осушив свой стакан, сказал: – Да вот недавно совершенно Горностаев поразил всех тем, что с ним чудо произошло... – И тут начал поливать блин маслом и так долго поливал, что я воскликнул:

– Ради Бога, не тяните!

– Прекрасное вино напареули, – все-таки вклеил Бомбардов, испытывая мое терпение, и продолжал так: – Было это дельце четыре года тому назад. Раннею весною, и, как сейчас помню, был тогда Герасим Николаевич как-то особенно весел и возбужден. Не к добру, видно, веселился человек! Планы какие-то строил, порывался куда-то, даже помолодел. А он, надо вам сказать, театр любит страстно. Помню, все говорил тогда: «Эх, отстал я несколько, раньше я, бывало, следил за театральной жизнью Запада, каждый год ездил, бывало, за границу, ну, и натурально, был в курсе всего, что делается в театре в Германии, во Франции! Да что Франция, даже, вообразите, в Америку с целью изучения театральных достижений заглядывал». «Так вы, – говорят ему, – подайте заявление да и съездите». Усмехнулся мягкой такой улыбкой. «Ни в коем случае, отвечает, не такое теперь время, чтобы заявления подавать! Неужели я допущу, чтобы из-за меня государство тратило ценную валюту? Лучше пусть инженер какой-нибудь съездит или хозяйственник!»

Крепкий, настоящий человек! Нуте-с... (Бомбардов поглядел сквозь вино на свет лампочки, еще раз похвалил вино) нуте-с, проходит месяц, настала уже и настоящая весна. Тут и разыгралась беда. Приходит раз Герасим Николаевич к Августе Авдеевне в кабинет. Молчит. Та посмотрела на него, видит, что на нем лица нет, бледен как салфетка, в глазах траур. «Что с вами, Герасим Николаевич?» – «Ничего, отвечает, не обращайте внимания». Подошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу, стал насвистывать что-то очень печальное и знакомое до ужаса. Вслушалась, оказалось – траурный марш Шопена. Не выдержала, сердце у нее по человечеству заныло, пристала: «Что такое? В чем дело?»

Повернулся к ней, криво усмехнулся и говорит: «Поклянитесь, что никому не скажете!» Та, натурально, немедленно поклялась. «Я сейчас был у доктора, и он нашел, что у меня саркома легкого». Повернулся и вышел.

– Да, это штука... – тихо сказал я, и на душе у меня стало скверно.

– Что говорить! – подтвердил Бомбардов. – Ну-с, Августа Авдеевна немедленно под клятвой это Гавриилу Степановичу, тот Ипполиту Павловичу, тот жене, жена Евлампии Петровне; короче говоря, через два часа даже подмастерья в портновском цехе знали, что Герасима Николаевича художественная деятельность кончилась и что венок хоть сейчас можно заказывать. Актеры в чайном буфете через три часа уже толковали, кому передадут роли Герасима Николаевича.

Августа Авдеевна тем временем за трубку и к Ивану Васильевичу. Ровно через три дня звонит Августа Авдеевна к Герасиму Николаевичу и говорит: «Сейчас приеду к вам». И, точно, приезжает. Герасим Николаевич лежит на диване в китайском халате, как смерть сама бледен, но горд и спокоен.

Августа Авдеевна – женщина деловая и прямо на стол красную книжку и чек – бряк!

Герасим Николаевич вздрогнул и сказал:

– Вы недобрые люди. Ведь я не хотел этого! Какой смысл умирать на чужбине?

Августа Авдеевна стойкая женщина и настоящий секретарь! Слова умирающего она пропустила мимо ушей и крикнула:

– Фаддей!

А Фаддей верный, преданный слуга Герасима Николаевича.

И тотчас Фаддей появился.

– Поезд идет через два часа. Плед Герасиму Николаевичу! Белье. Чемодан. Несессер. Машина будет через сорок минут.

Обреченный только вздохнул, махнул рукой.

Есть где-то, не то в Швейцарии на границе, не то не в Швейцарии, словом, в Альпах... – Бомбардов потер лоб, – словом, не важно. На высоте трех тысяч метров над уровнем моря высокогорная лечебница мировой знаменитости профессора Кли. Ездят туда только в отчаянных случаях. Или пан, или пропал. Хуже не будет, а, бывает, случались чудеса. На открытой веранде, в виду снеговых вершин, кладет Кли таких безнадежных, делает им какие-то впрыскивания саркоматина, заставляет дышать кислородом, и, случалось, Кли на год удавалось оттянуть смерть.

Через пятьдесят минут провезли Герасима Николаевича мимо театра по его желанию, и Демьян Кузьмич рассказывал потом, что видел, как тот поднял руку и благословил театр, а потом машина ушла на Белорусско-Балтийский вокзал.

Тут лето наскочило, и пронесся слух, что Герасим Николаевич скончался. Ну, посудачили, посочувствовали... Однако лето... Актеры уж были на отлете, у них поездка начиналась... Так что уж очень большой скорби как-то не было... Ждали, что вот привезут тело Герасима Николаевича... Актеры тем временем разъехались, сезон кончился. А надо вам сказать, что наш Плисов...

– Это тот симпатичный с усами? – спросил я. – Который в галерее?

– Именно он, – подтвердил Бомбардов и продолжал: – Так вот он получил командировку в Париж для изучения театральной машинерии. Немедленно, натурально, получил документы и отчалил. Плисов, надо вам сказать, работяга потрясающий и в свой поворотный круг буквально влюблен. Завидовали ему чрезвычайно. Каждому лестно в Париж съездить... «Вот счастливец!» – все говорили. Счастливец он или несчастливец, но взял документики и покатил в Париж, как раз в то время, как пришло известие о кончине Герасима Николаевича. Плисов личность особенная и ухитрился, пробыв в Париже, не увидеть даже Эйфелевой башни. Энтузиаст. Все время просидел в трюмах под сценами, все изучил, что надобно, купил фонари, все честно исполнил. Наконец нужно уж ему и уезжать. Тут решил пройтись по Парижу, хоть глянуть-то на него перед возвращением на родину. Ходил, ходил, ездил в автобусах, объясняясь по преимуществу мычанием, и, наконец, проголодался, как зверь, заехал куда-то, черт его знает куда. «Дай, думает, зайду в ресторанчик, перекушу». Видит – огни. Чувствует, что где-то не в центре, все, по-видимому, недорого. Входит. Действительно, ресторанчик средней руки. Смотрит – и как стоял, так и застыл.

Видит: за столиком, в смокинге, в петлице бутоньерка, сидит покойный Герасим Николаевич, и с ним какие-то две француженки, причем последние прямо от хохоту давятся. А перед ними на столе в вазе со льдом бутылка шампанского и кой-что из фруктов.

Плисов прямо покачнулся у притолоки. «Не может быть! – думает. – Мне показалось. Не может Герасим Николаевич быть здесь и хохотать. Он может быть только в одном месте, на Ново-Девичьем!»

Стоит, вытаращив глаза на этого, жутко похожего на покойника, а тот поднимается, причем лицо его выразило сперва какую-то как бы тревогу. Плисову даже показалось, что он как бы недоволен его появлением, но потом выяснилось, что Герасим Николаевич просто изумился. И тут же шепнул Герасим Николаевич, а это был именно он, что-то своим француженкам, и те исчезли внезапно.

Очнулся Плисов лишь тогда, когда Герасим Николаевич облобызал его. И тут же все разъяснилось. Плисов только вскрикивал: «Да ну!» – слушая Герасима Николаевича. Ну и действительно, чудеса.

Привезли Герасима Николаевича в Альпы эти самые в таком виде, что Кли покачал головой и сказал только: «Гм...» Ну, положили Герасима Николаевича на эту веранду.

Впрыснули этот препарат. Кислородную подушку. Вначале больному стало хуже, и хуже настолько, что, как потом признались Герасиму Николаевичу, у Кли насчет завтрашнего дня появились самые неприятные предположения. Ибо сердце сдало. Однако завтрашний день прошел благополучно. Повторили впрыскивание. Послезавтрашний день еще лучше. А дальше – прямо не верится. Герасим Николаевич сел на кушетке, а потом говорит: «Дай-ко я пройдусь». Не только у ассистентов, но у самого Кли глаза стали круглые. Коротко говоря, через день еще Герасим Николаевич ходил по веранде, лицо порозовело, появился аппетит... температура 36,8, пульс нормальный, болей нету и следа.

Герасим Николаевич рассказывал, что на него ходили смотреть из окрестных селений. Врачи приезжали из городов. Кли доклад делал, кричал, что такие случаи бывают раз в тысячу лет. Хотели портрет Герасима Николаевича поместить в медицинских журналах, но он наотрез отказался – «не люблю шумихи!».

Кли же тем временем говорит Герасиму Николаевичу, что делать ему больше в Альпах нечего и что он посылает Герасима Николаевича в Париж для того, чтобы он там отдохнул от пережитых потрясений. Ну вот Герасим Николаевич и оказался в Париже. А француженки, объяснил Герасим Николаевич, – это двое молодых местных парижских начинающих врачей, которые собирались о нем писать статью. Вот-с какие дела.

– Да, это поразительно! – заметил я. – Я все-таки не понимаю, как же это он выкрутился!

– В этом-то и есть чудо, – ответил Бомбардов, – оказывается, что под влиянием первого же вспрыскивания саркома Герасима Николаевича начала рассасываться и рассосалась!

Я всплеснул руками.

– Скажите! – вскричал я. – Ведь этого никогда не бывает!

– Раз в тысячу лет бывает, – отозвался Бомбардов и продолжал: – Но погодите, это не все. Осенью приехал Герасим Николаевич в новом костюме, поправившийся, загоревший – его парижские врачи, после Парижа, еще на океан послали. В чайном буфете прямо гроздьями наши висели на Герасиме Николаевиче, слушая его рассказы про океан, Париж, альпийских врачей и прочее такое. Ну, пошел сезон как обычно, Герасим Николаевич играл, и пристойно играл, и тянулось так до марта... А в марте вдруг приходит Герасим Николаевич на репетицию «Леди Макбет» с палочкой. «Что такое?» – «Ничего, колет почему-то в пояснице». Ну, колет и колет. Поколет – перестанет. Однако же не перестает. Дальше – больше... синим светом – не помогает... Бессонница, спать на спине не может. Начал худеть на глазах. Пантопон. Не помогает! Ну, к доктору, конечно. И вообразите...

Бомбардов сделал умело паузу и такие глаза, что холод прошел у меня по спине.

– И вообразите... доктор посмотрел его, помял, помигал... Герасим Николаевич говорит ему: «Доктор, не тяните, я не баба, видел виды... говорите – она?» Она!! – рявкнул хрипло Бомбардов и залпом выпил стакан. – Саркома возобновилась! Бросилась в правую почку, начала пожирать Герасима Николаевича! Натурально – сенсация. Репетиции к черту, Герасима Николаевича – домой. Ну, на сей раз уж было легче. Теперь уж есть надежда. Опять в три дня паспорт, билет, в Альпы, к Кли. Тот встретил Герасима Николаевича как родного. Еще бы! Рекламу сделала саркома Герасима Николаевича профессору мировую! Опять на веранду, опять впрыскивание – и та же история! Через сутки боль утихла, через двое Герасим Николаевич ходит по веранде, а через три просится у Кли – нельзя ли ему в теннис поиграть! Что в лечебнице творится, уму непостижимо. Больные едут к Кли эшелонами! Рядом второй, как рассказывал Герасим Николаевич, корпус начали пристраивать. Кли, на что сдержанный иностранец, расцеловался с Герасимом Николаевичем троекратно и послал его, как и полагается, отдыхать, только на сей раз в Ниццу, потом в Париж, а потом в Сицилию.

И опять приехал осенью Герасим Николаевич – мы как раз вернулись из поездки в Донбасс – свежий, бодрый, здоровый, только костюм другой, в прошлую осень был шоколадный, а теперь серый в мелкую клетку. Дня три рассказывал о Сицилии и о том, как буржуа в рулетку

играют в Монте-Карло. Говорит, что отвратительное зрелище. Опять сезон, и опять к весне та же история, но только в другом месте. Рецидив, но только под левым коленом. Опять Кли, потом на Мадейру, потом в заключение – Париж.

Но теперь уж волнений по поводу вспышек саркомы почти не было. Всем стало понятно, что Кли нашел способ спасения. Оказалось, что с каждым годом под влиянием впрыскиваний устойчивость саркомы понижается, и Кли надеется и даже уверен в том, что еще три-четыре сезона, и организм Герасима Николаевича станет сам справляться с попытками саркомы дать где-нибудь вспышку. И, действительно, в позапрошлом году она сказалась только легкими болями в гайморовой полости и тотчас у Кли пропала. Но теперь уж за Герасимом Николаевичем строжайшее и неослабное наблюдение, и есть боли или нет, но уж в апреле его отправляют.

– Чудо! – сказал я, вздохнув почему-то.

Меж тем пир наш шел горой, как говорится. Затуманились головы от напареули, пошла беседа и живее и, главное, откровеннее. «Ты очень интересный, наблюдательный, злой человек, – думал я о Бомбардове, – и нравишься мне чрезвычайно, но ты хитер и скрытен, и таким сделала тебя твоя жизнь в театре...»

– Не будьте таким! – вдруг попросил я моего гостя. – Скажите мне, ведь сознаюсь вам – мне тяжело... Неужели моя пьеса так плоха?

– Ваша пьеса, – сказал Бомбардов, – хорошая пьеса. И точка.

– Почему же, почему же произошло все это странное и страшное для меня в кабинете? Пьеса не понравилась им?

– Нет, – сказал Бомбардов твердым голосом, – наоборот. Все произошло именно потому, что она им понравилась. И понравилась чрезвычайно.

– Но Ипполит Павлович...

– Больше всего она понравилась именно Ипполиту Павловичу, – тихо, но веско, раздельно проговорил Бомбардов, и я уловил, так показалось мне, у него в глазах сочувствие.

– С ума можно сойти... – прошептал я.

– Нет, не надо сходить... Просто вы не знаете, что такое театр. Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего...

– Говорите! Говорите! – вскричал я и взялся за голову.

– Пьеса понравилась до того, что вызвала даже панику, – начал говорить Бомбардов, – отчего все и стряслось. Лишь только с нею познакомились, а старейшины узнали про нее, тотчас наметили даже распределение ролей. На Бахтина назначили Ипполита Павловича. Петрова задумали дать Валентину Конрадовичу.

– Какому... Вал... это который...

– Ну да... он.

– Но позвольте! – даже не закричал, а заорал я. – Ведь...

– Ну да, ну да... – проговорил, очевидно, понимавший меня с полуслова Бомбардов, – Ипполиту Павловичу – шестьдесят один год, Валентину Конрадовичу – шестьдесят два года... Самому старшему вашему герою Бахтину сколько лет?

– Двадцать восемь!

– Вот, вот. Нуте-с, как только старейшинам разослали экземпляры пьесы, то и передать вам нельзя, что произошло. Не бывало у нас этого в театре за все пятьдесят лет его существования. Они просто все обиделись.

– На кого? На распределителя ролей?

– Нет. На автора.

Мне оставалось только выпучить глаза, что я и сделал, а Бомбардов продолжал:

– На автора. В самом деле – группа старейшин рассуждала так: мы ищем, жаждем ролей, мы, основоположники, рады были бы показать все наше мастерство в современной пьесе и... здравствуйте пожалуйста! Приходит серый костюм и приносит пьесу, в которой действуют мальчишки! Значит, играть мы ее не можем?! Это что же, он в шутку ее принес?! Самому младшему из основоположников пятьдесят семь лет – Герасиму Николаевичу.

– Я вовсе не претендую, чтобы мою пьесу играли основоположники! – заорал я. – Пусть ее играют молодые!

– Ишь ты как ловко! – воскликнул Бомбардов и сделал сатанинское лицо. – Пусть, стало быть, Аргунин, Галин, Елагин, Благосветлов, Стренковский выходят, кланяются – браво! Бис! Ура! Смотрите, люди добрые, как мы замечательно играем! А основоположники, значит, будут сидеть и растерянно улыбаться – значит, мол, мы не нужны уже? Значит, нас уж, может, в богадельню? Хи, хи, хи! Ловко! Ловко!

– Все понятно! – стараясь кричать тоже сатанинским голосом, закричал я. – Все понятно!

– Что ж тут не понять! – отрезал Бомбардов. – Ведь Иван Васильевич сказал же вам, что нужно невесту переделать в мать, тогда играла бы Маргарита Павловна или Настасья Ивановна...

– Настасья Ивановна?!

– Вы не театральный человек, – с оскорбительной улыбкой отозвался Бомбардов, но за что оскорблял, не объяснил.

– Одно только скажите, – пылко заговорил я, – кого они хотели назначить на роль Анны?

– Натурально, Людмилу Сильвестровну Пряхину.

Тут почему-то бешенство овладело мною.

– Что-о? Что такое?! Людмилу Сильвестровну?! – Я вскочил из-за стола. – Да вы смеетесь!

– А что такое? – с веселым любопытством спросил Бомбардов.

– Сколько ей лет?

– А вот этого, извините, никто не знает.

– Анне девятнадцать лет! Девятнадцать! Понимаете? Но это даже не самое главное. А главное то, что она не может играть!

– Анну-то?

– Не Анну, а вообще ничего не может!

– Позвольте!

– Нет, позвольте! Актриса, которая хотела изобразить плач угнетенного и обиженного человека и изобразила его так, что кот спятил и изодрал занавеску, играть ничего не может.

– Кот – болван, – наслаждаясь моим бешенством, отозвался Бомбардов, – у него ожирение сердца, миокардит и неврастения. Ведь он же целыми днями сидит на постели, людей не видит, ну, натурально, испугался.

– Кот – неврастеник, я согласен! – кричал я. – Но у него правильное чутье, и он прекрасно понимает сцену. Он услыхал фальшь! Понимаете, омерзительную фальшь. Он был шокирован! Вообще, что означала вся эта петрушка?

– Накладка вышла, – пояснил Бомбардов.

– Что значит это слово?

– Накладкой на нашем языке называется всякая путаница, которая происходит на сцене. Актер вдруг в тексте ошибается, или занавес не вовремя закроют, или...

– Понял, понял...

– В данном случае наложили двое – и Августа Авдеевна и Настасья Ивановна. Первая, пуская вас к Ивану Васильевичу, не предупредила Настасью Ивановну о том, что вы будете. А

вторая, перед тем как пускать Людмилу Сильвестровну на выход, не проверила, есть ли кто у Ивана Васильевича. Хотя, конечно, Августа Авдеевна меньше виновата – Настасья Ивановна за грибами ездила в магазин...

– Понятно, понятно, – говорил я, стараясь выдавить из себя мефистофельский смех, – все решительно понятно! Так вот, не может ваша Людмила Сильвестровна играть.

– Позвольте! Москвичи утверждают, что она играла прекрасно в свое время...

– Врут ваши москвичи! – вскричал я. – Она изображает плач и горе, а глаза у нее злятся! Она подтанцовывает и кричит «бабье лето!», а глаза у нее беспокойные! Она смеется, а у слушателя мурашки в спине, как будто ему нарзану за рубашку налили! Она не актриса!

– Однако! Она тридцать лет изучает знаменитую теорию Ивана Васильевича о воплощении...

– Не знаю этой теории! По-моему, теория ей не помогла!

– Вы, может быть, скажете, что и Иван Васильевич не актер?

– А, нет! Нет! Лишь только он показал, как Бахтин закололся, я ахнул: у него глаза мертвые сделались! Он упал на диван, и я увидел зарезавшегося. Сколько можно судить по этой краткой сцене, а судить можно, как можно великого певца узнать по одной фразе, спетой им, он величайшее явление на сцене! Я только решительно не могу понять, что он говорит по содержанию пьесы.

– Все мудро говорит!

– Кинжал!!

– Поймите, что лишь только вы сели и открыли тетрадь, он уже перестал слушать вас. Да, да. Он соображал о том, как распределить роли, как сделать так, чтобы разместить основоположников, как сделать так, чтобы они могли разыграть вашу пьесу без ущерба для себя... А вы выстрелы там какие-то читаете. Я служу в нашем театре десять лет, и мне говорили, что единственный раз выстрелили в нашем театре в тысяча девятьсот первом году, и то крайне неудачно. В пьесе этого... вот забыл... известный автор... ну, не важно... словом, двое нервных героев ругались между собой из-за наследства, ругались, ругались, пока один не хлопнул в другого из револьвера, и то мимо... Ну, пока шли простые репетиции, помощник изображал выстрел, хлопая в ладоши, а на генеральной выстрелил в кулисе по-всамделишному. Ну, Настасье Ивановне и сделалось дурно – она ни разу в жизни не слыхала выстрела, а Людмила Сильвестровна закатила истерику. И с тех пор выстрелы прекратились. В пьесе сделали изменение, герой не стрелял, а замахивался лейкой и кричал «убью тебя, негодяй!» и топал ногами, отчего, по мнению Ивана Васильевича, пьеса только выиграла. Автор бешено обиделся на театр и три года не разговаривал с директорами, но Иван Васильевич остался тверд...

По мере того как текла хмельная ночь, порывы мои ослабевали, и я уже не шумно возражал Бомбардову, а больше задавал вопросы. Во рту горел огонь после соленой красной икры и семги, мы утоляли жажду чаем. Комната, как молоком, наполнилась дымом, из открытой форточки била струя морозного воздуха, но она не освежала, а только холодила.

– Вы скажите мне, скажите, – просил я глухим, слабым голосом, – зачем же в таком случае, если пьеса никак не расходится у них, они не хотят, чтобы я отдал ее в другой театр? Зачем она им? Зачем?

– Хорошенькое дело! Как зачем? Очень интересно нашему театру, чтобы рядом поставили новую пьесу, да которая, по-видимому, может иметь успех! С какой стати! Да ведь вы же написали в договоре, что не отдадите пьесу в другой театр?

Тут у меня перед глазами запрыгали бесчисленные огненно-зеленые надписи «автор не имеет права» и какое-то слово «буде»... и хитрые фигурки параграфов, вспомнился кожаный кабинет, показалось, что запахло духами.

– Будь он проклят! – прохрипел я.

– Кто?!

– Будь он проклят! Гавриил Степанович!

– Орел! – воскликнул Бомбардов, сверкая воспаленными глазами.

– И ведь какой тихий и все о душе говорит!..

– Заблуждение, бред, чепуха, отсутствие наблюдательности! – вскрикивал Бомбардов, глаза его пылали, пылала папироса, дым валил у него из ноздрей. – Орел, кондор. Он на скале сидит, видит на сорок километров кругом. И лишь покажется точка, шевельнется, он взвивается и вдруг камнем падает вниз! Жалобный крик, хрипение... и вот уж он взвился в поднебесье, и жертва у него!

– Вы поэт, черт вас возьми! – хрипел я.

– А вы, – тонко улыбнувшись, шепнул Бомбардов, – злой человек! Эх, Сергей Леонтьевич, предсказываю вам, трудно вам придется...

Слова его кольнули меня. Я считал, что я совсем не злой человек, но тут же вспомнились и слова Ликоспастова о волчьей улыбке...

– Значит, – зевая, говорил я, – значит, пьеса моя не пойдет? Значит, все пропало?

Бомбардов пристально поглядел на меня и сказал с неожиданной для него теплотой в голосе:

– Готовьтесь претерпеть все. Не стану вас обманывать. Она не пойдет. Разве что чудо...

Приближался осенний, скверный, туманный рассвет за окном. Но несмотря на то что были противные объедки, в блюдечках груды окурков, я, среди всего этого безобразия, еще раз поднятый какой-то последней, по-видимому, волной, начал произносить монолог о золотом коне.

Я хотел изобразить моему слушателю, как сверкают искорки на золотом крупе коня, как дышит холодом и своим запахом сцена, как ходит смех по залу... Но главное было не в этом. Раздавив в азарте блюдечко, я страстно старался убедить Бомбардова в том, что я лишь только увидел коня, как сразу понял и сцену, и все ее мельчайшие тайны. Что, значит, давным-давно, еще, быть может, в детстве, а может быть, и не родившись, я уже мечтал, я смутно тосковал о ней. И вот пришел!

– Я новый, – кричал я, – я новый! Я неизбежный, я пришел!

Тут какие-то колеса поворачивались в горящем мозгу, и выскакивала Людмила Сильвестровна, взвывала, махала кружевным платком.

– Не может она играть! – в злобном исступлении хрипел я.

– Но позвольте!.. Нельзя же...

– Попрошу не противоречить мне, – сурово говорил я, – вы притерпелись, я же новый, мой взгляд остр и свеж! Я вижу сквозь нее.

– Однако!

– И никакая те... теория ничего не поможет! А вот там маленький, курносый, чиновничка играет, руки у него белые, голос сиплый, но теория ему не нужна, и этот, играющий убийцу в черных перчатках... не нужна ему теория!

– Аргунин... – глухо донеслось до меня из-за завесы дыма.

– Не бывает никаких теорий! – окончательно впадая в самонадеянность, вскрикивал я и даже зубами скрежетал и тут совершенно неожиданно увидел, что на сером пиджаке у меня большое масляное пятно с прилипшим кусочком лука. Я растерянно оглянулся. Не было ночи и в помине. Бомбардов потушил лампу, и в синеве стали выступать все предметы во всем своем уродстве.

Ночь была съедена, ночь ушла.

Глава 14
ТАИНСТВЕННЫЕ ЧУДОТВОРЦЫ

Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот, кажется, и недавно все это было, а между тем восстановить события стройно и последовательно нет никакой возможности. Выпали звенья из цепи! Кой-что вспоминаешь, прямо так и загорится перед глазами, а прочее раскрошилось, рассыпалось, и только одна труха и какой-то дождик в памяти. Да, впрочем, труха и есть. Дождик? Дождик? Ну, месяц, стало быть, который пошел вслед за пьяной ночью, был ноябрь. Ну, тут, конечно, дождь вперемежку с липким снегом. Ну, вы Москву знаете, надо полагать? Стало быть, описывать ее нечего. Чрезвычайно нехорошо на ее улицах в ноябре. И в учреждениях тоже нехорошо. Но это бы еще с полгоря, худо, когда дома нехорошо. Чем, скажите мне, выводить пятна с одежды? Я пробовал и так и эдак, и тем и другим. И ведь удивительная вещь: например, намочишь бензином, и чудный результат – пятно тает, тает и исчезает. Человек счастлив, ибо ничто так не мучает, как пятно на одежде. Неаккуратно, нехорошо, портит нервы. Повесишь пиджак на гвоздик, утром встанешь – пятно на прежнем месте и пахнет чуть-чуть бензином. То же самое после кипятку, спитого чаю, одеколону. Вот чертовщина! Начинаешь злиться, дергаться, но ничего не сделаешь. Нет, видно, кто посадил себе пятно на одежду, так уж с ним и будет ходить до тех самых пор, пока не сгниет и не будет сброшен навсегда самый костюм. Мне-то теперь уж все равно – но другим пожелаю, чтобы их было как можно меньше.

Итак, я выводил пятно и не вывел, потом, помнится, все лопались шнурки на ботинках, кашлял и ежедневно ходил в «Вестник», страдал от сырости и бессонницы, а читал как попало и бог знает что. Обстоятельства же сложились так, что людей возле меня не стало. Ликоспастов почему-то уехал на Кавказ, приятеля моего, у которого я похищал револьвер, перевели на службу в Ленинград, а Бомбардов заболел воспалением почек, и его поместили в лечебницу. Изредка я ходил его навещать, но ему, конечно, было не до разговоров о театре. И понимал он, конечно, что как-никак, а после случая с «Черным снегом» дотрагиваться до этой темы не следует, а до почек можно, потому что здесь все-таки возможны всякие утешения. Поэтому о почках и говорили, даже Кли в шуточном плане вспоминали, но было как-то невесело.

Всякий раз, впрочем, как я видел Бомбардова, я вспоминал о театре, но находил в себе достаточно воли, чтобы ни о чем его не спросить. Я поклялся себе вообще не думать о театре, но клятва эта, конечно, нелепая. Думать запретить нельзя. Но можно запретить справляться о театре. И это я себе запретил.

А театр как будто умер и совершенно не давал о себе знать. Никаких известий из него не приходило. От людей, повторяю, удалился. Ходил в букинистические лавки и по временам сидел на корточках, в полутьме, роясь в пыльных журналах, и, помнится, видел чудесную картинку... Триумфальная арка...

Тем временем дожди прекратились, и совершенно неожиданно ударил мороз. Окно разделало узором в моей мансарде, и, сидя у окна и дыша на двугривенный и отпечатывая его на обледеневшей поверхности, я понял, что писать пьесы и не играть их – невозможно.

Однако из-под полу по вечерам доносился вальс, один и тот же (кто-то разучивал его), и вальс этот порождал картинки в коробочке, довольно странные и редкие. Так, например, мне казалось, что внизу притон курильщиков опиума, и даже складывалось нечто, что я развязно мысленно называл – «третьим действием». Именно сизый дым, женщина с асимметричным лицом, какой-то фрачник, отравленный дымом, и подкрадывающийся к нему с финским отточенным ножом человек с лимонным лицом и раскосыми глазами. Удар ножом, поток крови. Бред, как видите! Чепуха! И куда отнести пьесу, в которой подобное третье действие?

Да я и не записывал придуманное. Возникает вопрос, конечно, и прежде всего он возникает у меня самого – почему человек, закопавший самого себя в мансарде, потерпевший

крупную неудачу, да еще и меланхолик (это-то я понимаю, не беспокойтесь), не сделал вторичной попытки лишить себя жизни?

Признаюсь прямо: первый опыт вызвал какое-то отвращение к этому насильственному акту. Это если говорить обо мне. Но истинная причина, конечно, не в этом. Всему приходит час. Впрочем, не будем распространяться на эту тему.

Что касается внешнего мира, то все-таки вовсе отрезаться от него невозможно, и давал он себя знать потому, что в тот период времени, когда я получал от Гавриила Степановича то пятьдесят, то сто рублей, я подписался на три театральных журнала и на «Вечернюю Москву».

И приходили номера этих журналов более или менее аккуратно. Просматривая отдел «Театральные новости», я нет-нет да и натыкался на известия о моих знакомых.

Так, пятнадцатого декабря прочитал:

«Известный писатель Измаил Александрович Бондаревский заканчивает пьесу „Монмартрские ножи", из жизни эмиграции. Пьеса, по слухам, будет предоставлена автором Старому Театру».

Семнадцатого я развернул газету и наткнулся на следующее известие:

«Известный писатель Е. Агапёнов усиленно работает над комедией „Деверь" по заказу Театра Дружной Когорты».

Двадцать второго было напечатано:

«Драматург Клинкер в беседе с нашим сотрудником поделился сообщением о пьесе, которую он намерен предоставить Независимому Театру. Альберт Альбертович сообщил, что пьеса его представляет собою широко развернутое полотно гражданской войны под Касимовым. Пьеса называется условно „Приступ"».

А дальше как бы град пошел: и двадцать первого, и двадцать четвертого, и двадцать шестого. Газета – и в ней на третьей полосе мутноватое изображение молодого человека, с необыкновенно мрачной головой и как бы бодающего кого-то, и сообщение, что это Прок И.С. Драма. Кончает третий акт.

Жвенко Онисим. Анбакомов. Четыре, пять актов.

Второго января я обиделся.

Было напечатано:

«Консультант М. Панин созвал совещание в Независимом Театре группы драматургов. Тема – сочинение современной пьесы для Независимого Театра».

Заметка была озаглавлена «Пора, давно пора!», и в ней выражалось сожаление и укоризна Независимому Театру в том, что он единственный из всех театров до сих пор еще не поставил ни одной современной пьесы, отображающей нашу эпоху. «А между тем, – писала газета, – именно он, и преимущественно он, Независимый Театр, как никакой другой, в состоянии достойным образом раскрыть пьесу современного драматурга, ежели за это раскрытие возьмутся такие мастера, как Иван Васильевич и Аристарх Платонович».

Далее следовали справедливые укоры и по адресу драматургов, не удосужившихся до сих пор создать произведение, достойное Независимого Театра.

Я приобрел привычку разговаривать с самим собой.

– Позвольте, – обиженно надувая губы, бормотал я, – как это никто не написал пьесу? А мост? А гармоника? Кровь на затоптанном снегу?

Вьюга посвистывала за окном, мне казалось, что во вьюге за окном все тот же проклятый мост, что гармоника поет и слышны сухие выстрелы.

Чай остывал в стакане, со страницы газеты глядело на меня лицо с бакенбардами. Ниже была напечатана телеграмма, присланная Аристархом Платоновичем совещанию:

«Телом в Калькутте, душою с вами».

– Ишь какая жизнь кипит там, гудит, как в плотине, – шептал я, зевая, – а я как будто погребен.

Ночь уплывает, уплывает и завтрашний день, уплывут они все, сколько их будет отпущено, и ничего не останется, кроме неудачи.

Хромая, гладя больное колено, я тащился к дивану, начинал снимать пиджак, ежился от холода, заводил часы.

Так прошло много ночей, их я помню, но как-то все скопом, – было холодно спать. Дни же как будто вымыло из памяти – ничего не помню.

Так тянулось до конца января, и вот тут отчетливо я помню сон, приснившийся в ночь с двадцатого на двадцать первое.

Громадный зал во дворце, и я будто бы иду по залу. В подсвечниках дымно горят свечи, тяжелые, жирные, золотистые. Одет я странно, ноги обтянуты трико, словом, я не в нашем веке, а в пятнадцатом. Иду я по залу, а на поясе у меня кинжал. Вся прелесть сна заключалась не в том, что я явный правитель, а именно в этом кинжале, которого явно боялись придворные, стоящие у дверей. Вино не может опьянить так, как этот кинжал, и, улыбаясь, нет, смеясь во сне, я бесшумно шел к дверям.

Сон был прелестен до такой степени, что, проснувшись, я еще смеялся некоторое время.

И тут стукнули в дверь, и я подошел в одеяле, шаркая разорванными туфлями, и рука соседки просунулась в щель и подала мне конверт. Золотые буквы «НТ» сверкали на нем.

Я разорвал его, вот он и сейчас, распоротый косо, лежит передо мною (и я увезу его с собой!). В конверте был лист опять-таки с золотыми готическими буквами, и крупным, жирным почерком Фомы Стрижа было написано:

«Дорогой Сергей Леонтьевич!
Немедленно в Театр! Завтра начинаю репетировать «Черный снег» в 12 часов дня.
Ваш Ф. Стриж».

Я сел, криво улыбаясь, на диван, дико глядя в листок и думая о кинжале, потом почему-то о Людмиле Сильвестровне, глядя на голые колени.

В дверь тем временем стучали властно и весело.

– Да, – сказал я.

Тут в комнату вошел Бомбардов. Бледный с желтизной, показавшийся выше ростом после болезни, и голосом, от нее же изменившимся, он сказал:

– Знаете уже? Я нарочно заехал к вам.

И, встав перед ним во всей наготе и нищете, волоча по полу старое одеяло, я поцеловал его, уронив листок.

– Как же это могло случиться? – спросил я, наклоняясь к полу.

– Этого даже я не пойму, – ответил мне дорогой мой гость, – никто не поймет и даже никогда не узнает. Думаю, что это сделали Панин со Стрижом. Но как они это сделали – неизвестно, ибо это выше человеческих сил. Короче: это чудо.

ЧАСТЬ II

Глава 15

Серой тонкой змеей, протянутый через весь партер, уходящий неизвестно куда, лежал на полу партера электрический провод в чехле. От него питалась малюсенькая лампочка на столике, стоящем в среднем проходе партера. Лампочка давала ровно столько света, чтобы осветить лист бумаги на столе и чернильницу. На листе была нарисована курносая рожа, рядом с рожей лежала еще свежая апельсинная корка и стояла пепельница, полная окурков. Графин с водой отблескивал тускло, он был вне светящегося круга.

Партер настолько был погружен в полумрак, что люди со свету, входя в него, начинали идти ощупью, берясь за спинки кресел, пока не привыкал глаз.

Сцена была открыта и слабо освещена сверху из выносного софита. На сцене стояла какая-то стенка, задом повернутая на публику, причем на ней было написано: «Волки и овцы – 2». Стояло кресло, письменный стол, два табурета. В кресле сидел рабочий в косоворотке и пиджаке, а на одном из табуретов – молодой человек в пиджаке и брюках, но опоясанный ремнем, на котором висела шашка с георгиевским темляком.

В зале было душно, на улице уже давно был полный май.

Это был антракт на репетиции – актеры ушли в буфет завтракать. Я же остался. События последних месяцев дали себя знать, я чувствовал себя как бы избитым, все время хотелось присесть и посидеть долго и неподвижно. Такое состояние, впрочем, нередко перемежалось вспышками нервной энергии, когда хотелось двигаться, объяснять, говорить и спорить. И вот теперь я сидел в первом состоянии. Под колпачком лампочки густо слоился дым, его всасывало в колпачок, и потом он уходил куда-то ввысь.

Мысли мои вертелись только вокруг одного – вокруг моей пьесы. С того самого дня, как прислано было Фомою Стрижом мне решающее письмо, жизнь моя изменилась до неузнаваемости. Как будто наново родился человек, как будто и комната у него стала другая, хотя это была все та же комната, как будто и люди, окружающие его, стали иными, и в городе Москве он, этот человек, вдруг получил право на существование, приобрел смысл и даже значение.

Но мысли были прикованы только к одному, к пьесе, она заполняла все время – даже сны, потому что снилась уже исполненной в каких-то небывающих декорациях, снилась снятой с репертуара, снилась провалившейся или имеющей огромный успех. Во втором из этих случаев, помнится, ее играли на наклонных лесах, на которых актеры рассыпались, как штукатуры, и играли с фонарями в руках, поминутно запевая песни. Автор почему-то находился тут же, расхаживая по утлым перекладинам также свободно, как муха по стене, а внизу были липы и яблони, ибо пьеса шла в саду, наполненном возбужденной публикой.

В первом наичаще снился вариант – автор, идя на генеральную, забыл надеть брюки. Первые шаги по улице он делал смущенно, в какой-то надежде, что удастся проскочить незамеченным, и даже приготовлял оправдание для прохожих – что-то насчет ванны, которую он только что брал, и что брюки, мол, за кулисами. Но чем дальше, тем хуже становилось, и бедный автор прилипал к тротуару, искал разносчика газет, его не было. Хотел купить пальто, не было денег, скрывался в подъезд и понимал, что на генеральную опоздал...

– Ваня! – слабо доносилось со сцены. – Дай желтый!

В крайней ложе яруса, находящейся у самого портала сцены, что-то загоралось, из ложи косо падал луч раструбом, на полу сцены загоралось желтое круглое пятно, ползло, подхватывая в себя то кресло с потертой обивкой, со сбитой позолотой на ручках, то взъерошенного бутафора с деревянным канделябром в руке.

Чем ближе к концу шел антракт, тем больше шевелилась сцена. Высоко поднятые, висящие бесчисленными рядами полотнища под небом сцены вдруг оживали. Одно из них уходило вверх и сразу обнажало ряд тысячесвечовых ламп, режущих глаза. Другое почему-то, наоборот, шло вниз, но, не дойдя до полу, уходило. В кулисах появлялись темные тени, желтый луч уходил, всасывался в ложу. Где-то стучали молотками. Появлялся человек в брюках гражданских, но в шпорах и, звеня ими, проходил по сцене. Потом кто-то, наклонившись к полу сцены, кричал в пол, приложив руку ко рту щитком:

– Гнобин! Давай!

Тогда почти бесшумно все на сцене начинало уезжать вбок. Вот повлекло бутафора, он уехал со своим канделябром, проплыло кресло и стол. Кто-то вбежал на тронувшийся круг против движения, заплясал, выравниваясь, и, выравнявшись, уехал. Гудение усилилось, и

показались, становясь на место ушедшей обстановки, странные, сложные деревянные сооружения, состоящие из некрашеных крутых лестниц, перекладин, настилов. «Едет мост», – думал я и всегда почему-то испытывал волнение, когда он становился на место.

– Гнобин! Стоп! – кричали на сцене. – Гнобин, дай назад!

Мост становился. Затем, брызнув сверху из-под колосников светом в утомленные глаза, обнажались пузатые лампы, скрывались опять, и грубо измазанное полотнище спускалось сверху, становилось по косой. «Сторожка...» – думал я, путаясь в геометрии сцены, нервничая, стараясь прикинуть, как все это будет выглядеть, когда вместо выгородки, сделанной из первых попавшихся сборных вещей из других пьес, соорудят наконец настоящий мост. В кулисах вспыхивали лупоглазые прожекторы в козырьках, снизу сцену залило теплой живой волной света. «Рампу дал...»

Я щурился во тьму на ту фигуру, которая решительным шагом приближалась к режиссерскому столу.

«Романус идет, значит, сейчас произойдет что-то...» – думал я, заслоняясь рукой от лампы.

И действительно, через несколько мгновений надо мною показывалась раздвоенная бородка, в полутьме сверкали возбужденные глаза дирижера Романуса. В петлице у Романуса поблескивал юбилейный значок с буквами «НТ».

– Сэ нон э веро, э бен тровато[7] , а может быть, еще сильней! – начинал, как обычно, Романус, глаза его вертелись, горя, как у волка в степи. Романус искал жертвы и, не найдя ее, садился рядом со мною.

– Как вам это нравится? А? – прищуриваясь, спрашивал меня Романус.

«Втянет, ой, втянет он меня сейчас в разговор...» – думал я, корчась у лампы.

– Нет, вы, будьте добры, скажите ваше мнение, – буравя меня глазом, говорил Романус, – оно тем более интересно, что вы писатель и не можете относиться равнодушно к безобразиям, которые у нас происходят.

«Ведь как ловко он это делает...» – тоскуя до того, что чесалось тело, думал я.

– Ударить концертмейстера и тем более женщину тромбоном в спину? – азартно спрашивал Романус. – Нет-с. Это дудки! Я тридцать пять лет на сцене и такого случая еще не видел. Стриж думает, что музыканты свиньи и их можно загонять в закуту? Интересно, как это с писательской точки зрения?

Отмалчиваться больше не удавалось.

– А что такое?

Романус только и ждал этого. Звучным голосом, стараясь, чтобы слышали рабочие, с любопытством скопляющиеся у рампы, Романус говорил, что Стриж затолкал музыкантов в карман сцены, где играть нет никакой возможности по следующим причинам: первое – тесно, второе – темно, а в-третьих, в зале не слышно ни одного звука, в-четвертых, ему стоять негде, музыканты его не видят.

– Правда, есть люди, – зычно сообщал Романус, – которые смыслят в музыке не больше, чем некоторые животные...

«Чтоб тебя черт взял!» – думал я.

– ...в некоторых фруктах!

Усилия Романуса увенчивались успехом – из электротехнической будки слышалось хихиканье, из будки вылезала голова.

– Правда, таким лицам нужно не режиссурой заниматься, а торговать квасом у Ново-Девичьего кладбища!.. – заливался Романус.

Хихиканье повторялось.

Далее выяснялось, что безобразия, допущенные Стрижом, дали свои результаты. Тромбонист ткнул в темноте тромбоном концертмейстера Анну Ануфриевну Деньжину в спину так, что...

– ...рентген покажет, чем это кончится!

Романус добавлял, что ребра можно ломать не в театре, в пивной, где, впрочем, некоторые получают свое артистическое образование.

Ликующее лицо монтера красовалось над прорезом будки, рот его раздирало смехом.

Но Романус утверждает, что это так не кончится. Он научил Анну Ануфриевну, что делать. Мы, слава Богу, живем в Советском государстве, напоминал Романус, ребра членам профсоюзов ломать не приходится. Он научил Анну Ануфриевну подать заявление в местком.

– Правда, по вашим глазам я вижу, – продолжал Романус, впиваясь в меня и стараясь уловить меня в круге света, – что у вас нет полной уверенности в том, что наш знаменитый председатель месткома так же хорошо разбирается в музыке, как Римский-Корсаков или Шуберт.

«Вот тип!» – думал я.

– Позвольте!.. – стараясь сурово говорить, говорил я.

– Нет уж, будем откровенны! – восклицал Романус, пожимая мне руку. – Вы писатель! И прекрасно понимаете, что навряд ли Митя Малокрошечный, будь он хоть двадцать раз председателем, отличит гобой от виолончели или фугу Баха от фокстрота «Аллилуйя».

Тут Романус выражал радость, что хорошо еще, что ближайший друг...

– ...и собутыльник!..

К теноровому хихиканью в электрической будке присоединился хриплый басок. Над будкой ликовало уже две головы.

...Антон Калошин помогает разбираться Малокрошечному в вопросах искусства. Это, впрочем, и немудрено, ибо до работы в театре Антон служил в пожарной команде, где играл на трубе. А не будь Антона, Романус ручается, что кой-кто из режиссеров спутал бы, и очень просто, увертюру к «Руслану» с самым обыкновенным «Со святыми упокой»!

«Этот человек опасен, – думал я, глядя на Романуса, – опасен по-серьезному. Средств борьбы с ним нет!»

Кабы не Калошин, конечно, у нас могли бы заставить играть музыканта, подвесив его кверху ногами к выносному софиту, благо Иван Васильевич не появляется в театре, но тем не менее придется театру заплатить Анне Ануфриев не за искрошенные ребра. Да и в союз Романус ей посоветовал наведаться, узнать, как там смотрят на такие вещи, про которые действительно можно сказать:

– Сэ нон э веро, э бен тровато, а может быть, еще сильнее!

Мягкие шаги послышались сзади, приближалось избавление.

У стола стоял Андрей Андреевич. Андрей Андреевич был первым помощником режиссера в театре, и он вел пьесу «Черный снег».

Андрей Андреевич, полный, плотный блондин лет сорока, с живыми многоопытными глазами, знал свое дело хорошо. А дело это было трудное. Андрей Андреевич, одетый по случаю мая не в обычный темный костюм и желтые ботинки, а в синюю сатиновую рубашку и брезентовые желтоватые туфли, подошел к столу, имея под мышкою неизменную папку.

Глаз Романуса запылал сильнее, и Андрей Андреевич не успел еще пристроить папку под лампой, как вскипел скандал.

Начался он с фразы Романуса:

– Я категорически протестую против насилия над музыкантами и прошу занести в протокол то, что происходит!

– Какие насилия? – спросил Андрей Андреевич служебным голосом и чуть шевельнул бровью.

– Если у нас ставятся пьесы, больше похожие на оперу... – начал было Романус, но спохватился, что автор сидит тут же, и продолжал, исказив свое лицо улыбкой в мою сторону, – что и правильно! Ибо наш автор понимает все значение музыки в драме!.. То... Я прошу отвести оркестру место, где он мог бы играть!

– Ему отведено место в кармане, – сказал Андрей Андреевич, делая вид, что открывает папку по срочному делу.

– В кармане? А может быть, лучше в суфлерской будке? Или в бутафорской?

– Вы сказали, что в трюме нельзя играть.

– В трюме? – взвизгнул Романус. – И повторяю, что нельзя. И в чайном буфете нельзя, к вашему сведению.

– К вашему сведению, я и сам знаю, что в чайном буфете нельзя, – сказал Андрей Андреевич, и у него шевельнулась другая бровь.

– Вы знаете, – ответил Романус и, убедившись, что Стрижа еще нет в партере, продолжал: – Ибо вы старый работник и понимаете в искусстве, чего нельзя сказать про кой-кого из режиссеров...

– Тем не менее обращайтесь к режиссеру. Он проверял звучание...

– Чтобы проверить звучание, нужно иметь кой-какой аппарат, при помощи которого можно проверить, например, уши! Но если кому-нибудь в детстве...

– Я отказываюсь продолжать разговор в таком тоне, – сказал Андрей Андреевич и закрыл папку.

– Какой тон?! Какой тон?! – изумился Романус. – Я обращаюсь к писателю, пусть он подтвердит свое возмущение по поводу того, как калечат у нас музыкантов!!!

– Позвольте... – начал я, видя изумленный взгляд Андрея Андреевича.

– Нет, виноват! – закричал Романус Андрею Андреевичу. – Если помощник, который обязан знать сцену как свои пять пальцев...

– Прошу не учить меня, как знать сцену, – сказал Андрей Андреевич и оборвал шнурок на папке.

– Приходится! Приходится! – ядовито скалясь, прохрипел Романус.

– Я занесу в протокол то, что вы говорите! – сказал Андрей Андреевич.

– И я буду рад, что вы занесете!

– Прошу оставить меня в покое! Вы дезорганизуете работников на репетиции!

– Прошу и эти слова занести! – фальцетом вскричал Романус.

– Прошу не кричать!

– И я прошу не кричать!

– Прошу не кричать! – отозвался, сверкая глазами, Андрей Андреевич и вдруг бешено закричал: – Верховые! Что вы там делаете?! – и бросился через лесенку на сцену.

По проходу уже спешил Стриж, а за ним темными силуэтами показались актеры. Начало скандала со Стрижом я помню.

Романус поспешил к нему навстречу, подхватил под руку и заговорил:

– Фома! Я знаю, что ты ценишь музыку и это не твоя вина, но я прошу и требую, чтобы помощник не смел издеваться над музыкантами!

– Верховые! – кричал на сцене Андрей Андреевич. – Где Бобылев?!

– Бобылев обедает, – глухо с неба донесся голос.

Актеры кольцом окружили Романуса и Стрижа.

Было жарко, был май. Сотни раз уже эти люди, лица которых казались загадочными в полутьме над абажуром, мазались краской, перевоплощались, волновались, истощались... Они устали за сезон, нервничали, капризничали, дразнили друг друга. Романус доставил огромное и приятное развлечение.

Рослый голубоглазый СкаБронский потирал радостно руки и бормотал:

– Так, так, так... Давай! Истинный бог! Ты ему все выскажи, Оскар!..

Все это дало свои результаты.

– Попрошу на меня не кричать! – вдруг рявкнул Стриж и треснул пьесой по столу.

– Это ты кричишь! – визгнул Романус.

– Правильно! Истинный Бог! – веселился СкаБронский, подбадривая то Романуса: – Правильно, Оскар! Нам ребра дороже этих спектаклей! – то Стрижа: – А актеры хуже, что ли, музыкантов? Ты, Фома, обрати свое внимание на этот факт!

– Квасу бы сейчас, – зевая, сказал Елагин, – а не репетировать... И когда эта склока кончится?

Склока продолжалась еще некоторое время, крики неслись из круга, замыкавшего лампу, и дым поднимался вверх.

Но меня уже не интересовала склока. Вытирая потный лоб, я стоял у рампы, смотрел, как художница из макетной – Аврора Госье ходила по краю круга с измерительной рейкой, прикладывала ее к полу. Лицо Госье было спокойное, чуть печальное, губы сжаты. Светлые волосы Госье то загорались, точно их подожгли, когда она наклонялась к берегу рампы, то потухали и становились, как пепел. И я размышлял о том, что все, что сейчас происходит, что тянется так мучительно, все получит свое завершение...

Склока меж тем кончилась.

– Давайте, ребятушки! Давайте! – кричал Стриж. – Время теряем!

Патрикеев, Владычинский, СкаБронский уже ходили по сцене меж бутафорами. На сцену же проследовал и Романус. Его появление не прошло бесследно. Он подошел к Владычинскому и озабоченно спросил у того, не находит ли Владычинский, что Патрикеев очень уж злоупотребляет буффонными приемами, вследствие чего публика засмеется как раз в тот момент, когда у Владычинского важнейшая фраза: «А мне куда прикажете деваться? Я одинок, я болен...»

Владычинский побледнел как смерть, и через минуту и актеры, и рабочие, и бутафоры строем стояли у рампы, слушая, как переругиваются давние враги Владычинский с Патрикеевым. Владычинский, атлетически сложенный человек, бледный от природы, а теперь еще более бледный от злобы, сжав кулаки и стараясь, чтобы его мощный голос звучал бы страшно, не глядя на Патрикеева, говорил:

– Я займусь вообще этим вопросом! Давно пора обратить внимание на циркачей, которые, играя на штампиках, позорят марку театра!

Комический актер Патрикеев, играющий смешных молодых людей на сцене, а в жизни необыкновенно ловкий, поворотливый и плотный, старался сделать лицо презрительное и в то же время страшное, отчего глаза у него выражали печаль, а лицо физическую боль, сиплым голоском отвечал:

– Попрошу не забываться! Я актер Независимого Театра, а не кинохалтурщик, как вы!

Романус стоял в кулисе, удовлетворенно сверкая глазом, голоса ссорящихся покрывал голос Стрижа, кричавшего из кресел:

– Прекратите это сию минуту! Андрей Андреевич! Давайте тревожные звонки Строеву! Где он? Вы мне производственный план срываете!

Андрей Андреевич привычной рукою жал кнопки на щите на посту помощника, и далеко где-то за кулисами, и в буфете, и в фойе тревожно и пронзительно дребезжали звонки.

Строев же, заболтавшийся в предбаннике у Торопецкой, в это время, прыгая через ступеньки, спешил к зрительному залу. На сцену он проник не через зал, а сбоку, через ворота на сцену, пробрался к посту, а оттуда к рампе, тихонько позвякивая шпорами, надетыми на штатские ботинки, и стал, искусно делая вид, что присутствует он здесь уже давным-давно.

– Где Строев? – завывал Стриж. – Звоните ему, звоните! Требую прекращения ссоры!

– Звоню! – отвечал Андрей Андреевич. Тут он повернулся и увидел Строева. – Я вам тревожные даю! – сурово сказал Андрей Андреевич, и тотчас звон в театре утих.

– Мне? – отозвался Строев. – Зачем мне тревожные звонки? Я здесь десять минут, если не четверть часа... минимум... Мама... миа... – он прочистил горло кашлем.

Андрей Андреевич набрал воздуху, но ничего не сказал, а только многозначительно посмотрел. Набранный же воздух он использовал для того, чтобы прокричать:

– Прошу лишних со сцены! Начинаем!

Все улеглось, ушли бутафоры, актеры разошлись к своим местам. Романус в кулисе шепотом поздравил Патрикеева с тем, как он мужественно и правдиво возражал Владычинскому, которого давно уж пора одернуть.

Глава 16

УДАЧНАЯ ЖЕНИТЬБА

В июне месяце стало еще жарче, чем в мае.

Мне запомнилось это, а остальное удивительным образом смазалось в памяти. Обрывки кое-какие, впрочем, сохранились. Так, помнится дрыкинская пролетка у подъезда театра, сам Дрыкин в ватном синем кафтане на козлах и удивленные лица шоферов, объезжавших дрыкинскую пролетку. Затем помнится большой зал, в котором были беспорядочно расставлены стулья, и на этих стульях сидящие актеры. За столом же, накрытым сукном, Иван Васильевич, Стриж, Фома и я.

С Иваном Васильевичем я познакомился поближе за этот период времени и могу сказать, что все это время я помню, как время очень напряженное. Проистекало это оттого, что все усилия свои я направил на то, чтобы произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление, и хлопот у меня было очень много.

Через день я отдавал свой серый костюм утюжить Дусе и аккуратно платил ей за это по десять рублей.

Я нашел подворотню, в которой была выстроена утлая комнатка как бы из картона, и у плотного человека, у которого на пальцах было два бриллиантовых кольца, купил двадцать крахмальных воротничков и ежедневно, отправляясь в театр, надевал свежий. Кроме того, мною, но не в подворотне, а в государственном универсальном магазине были закуплены шесть сорочек: четыре белых и одна в лиловую полоску, одна в синеватую клетку, восемь галстуков разной расцветки. У человека без шапки, невзирая на то, какая была погода, сидящего на углу в центре города рядом со стойкой с развешанными на ней шнурками, я приобрел две банки желтой ботиночной мази и чистил утром желтые туфли, беря у Дуси щетку, а потом натирал туфли полой своего халата.

Эти неимоверные, чудовищные расходы привели к тому, что я в две ночи сочинил маленький рассказ под заглавием «Блоха» и с этим рассказом в кармане ходил в свободное от репетиций время по редакциям еженедельных журналов, газетам, пытаясь этот рассказ продать. Я начал с «Вестника пароходства», в котором рассказ понравился, но где напечатать его отказались на том и совершенно резонном основании, что никакого отношения к речному пароходству он не имеет. Долго и скучно рассказывать о том, как я посещал редакции и как мне в них отказывали. Запомнилось лишь то, что встречали меня повсюду почему-то

неприязненно. В особенности помнится мне какой-то полный человек в пенсне, который не только решительно отверг мое произведение, но и прочитал мне что-то вроде нотации.

– В вашем рассказе чувствуется подмигивание, – сказал полный человек, и я увидел, что он смотрит на меня с отвращением.

Нужно мне оправдаться. Полный человек заблуждался. Никакого подмигивания в рассказе не было, но (теперь это можно сделать) надлежит признаться, что рассказ этот был скучен, нелеп и выдавал автора с головой; никаких рассказов автор писать не мог, у него не было для этого дарования.

Тем не менее произошло чудо. Проходив с рассказом в кармане три недели и побывав на Варварке, Воздвиженке, на Чистых прудах, на Страстном бульваре и даже, помнится, на Плющихе, я неожиданно продал свое сочинение в Златоустинском переулке на Мясницкой, если не ошибаюсь, в пятом этаже какому-то человеку с большой родинкой на щеке.

Получив деньги и заткнув страшную брешь, я вернулся в театр, без которого не мог жить уже, как морфинист без морфия.

С тяжелым сердцем я должен признаться, что все мои усилия пропали даром и даже, к моему ужасу, дали обратный результат. С каждым днем буквально я нравился Ивану Васильевичу все меньше и меньше.

Наивно было бы думать, что все расчеты я строил на желтых ботинках, в которых отражалось весеннее солнце. Нет! Здесь была хитрая, сложная комбинация, в которую входил, например, такой прием, как произнесение речей тихим голосом, глубоким и проникновенным. Голос этот соединялся со взглядом прямым, открытым, честным, с легкой улыбкой на губах (отнюдь не заискивающей, а простодушной). Я был идеально причесан, выбрит так, что при проведении тыльной стороной кисти по щеке не чувствовалось ни малейшей шероховатости, я произносил суждения краткие, умные, поражающие знанием вопроса, и ничего не выходило. Первое время Иван Васильевич улыбался, встречаясь со мною, потом он стал улыбаться все реже и реже и, наконец, совсем перестал улыбаться.

Тогда я стал производить репетиции по ночам. Я брал маленькое зеркало, садился перед ним, отражался в нем и начинал говорить:

– Иван Васильевич! Видите ли, в чем дело: кинжал, по моему мнению, применен быть не может...

И все шло как нельзя лучше. Порхала на губах пристойная и скромная улыбка, глаза глядели из зеркала и прямо и умно, лоб был разглажен, пробор лежал как белая нить на черной голове. Все это не могло не дать результата, и, однако, выходило все хуже и хуже. Я выбивался из сил, худел и немного запустил наряд. Позволял себе надевать один и тот же воротничок дважды.

Однажды ночью я решил произвести проверку и, не глядя в зеркало, произнес свой монолог, а затем воровским движением скосил глаза и взглянул в зеркало для проверки и ужаснулся.

Из зеркала глядело на меня лицо со сморщенным лбом, оскаленными зубами и глазами, в которых читалось не только беспокойство, но и задняя мысль. Я схватился за голову, понял, что зеркало меня подвело и обмануло, и бросил его на пол. И из него выскочил треугольный кусок. Скверная примета, говорят, если разобьется зеркало! Что же сказать о безумце, который сам разбивает свое зеркало?

– Дурак, дурак, – вскричал я, а так как я картавил, то показалось мне, что в тишине ночи каркнула ворона, – значит, я был хорош, только пока смотрелся в зеркало, но стоило мне убрать его, как исчез контроль и лицо мое оказалось во власти моей мысли и... а, черт меня возьми!

Я не сомневаюсь в том, что записки мои, если только они попадут кому-нибудь в руки, произведут не очень приятное впечатление на читателя. Он подумает, что перед ним лукавый, двоедушный человек, который из какой-то корысти стремился произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление.

Не спешите осуждать. Я сейчас скажу, в чем была корысть.

Иван Васильевич упорно и настойчиво стремился изгнать из пьесы ту самую сцену, где застрелился Бахтин (Бехтеев), где светила луна, где играли на гармонике. А между тем я знал, я видел, что тогда пьеса перестанет существовать. А ей нужно было существовать, потому что я знал, что в ней истина. Характеристики, данные Ивану Васильевичу, были слишком ясны. Да, признаться, они были излишни. Я изучил и понял его в первые же дни нашего знакомства и знал, что никакая борьба с Иваном Васильевичем невозможна. У меня оставался единственный путь: добиться, чтобы он выслушал меня. Естественно, что для этого нужно было, чтобы он видел перед собою приятного человека. Вот почему я и сидел с зеркалом. Я старался спасти выстрел, я хотел, чтобы услышали, как страшно поет гармоника на мосту, когда на снегу под луной расплывается кровавое пятно. Мне хотелось, чтобы увидели черный снег. Больше я ничего не хотел.

И опять закаркала ворона.

– Дурак! Надо было понять основное! Как можно понравиться человеку, если он тебе не нравится сам! Что же ты думаешь? Что ты проведешь какого-нибудь человека? Сам против него будешь что-то иметь, а ему постараешься внушить симпатию к себе? Да никогда это не удастся, сколько бы ты ни ломался перед зеркалом.

А Иван Васильевич мне не нравился. Не понравилась и тетушка Настасья Ивановна, крайне не понравилась и Людмила Сильвестровна. А ведь это чувствуется!

Дрыкинская пролетка означала, что Иван Васильевич ездил на репетиции «Черного снега» в театр.

Ежедневно в полдень Пакин рысцой вбегал в темный партер, улыбаясь от ужаса и неся в руках калоши. За ним шла Августа Авдеевна с клетчатым пледом в руках. За Августой Авдеевной – Людмила Сильвестровна с общей тетрадью и кружевным платочком.

В партере Иван Васильевич надевал калоши, усаживался за режиссерский стол, Августа Авдеевна накидывала Ивану Васильевичу на плечи плед, и начиналась репетиция на сцене.

Во время этой репетиции Людмила Сильвестровна, примостившись неподалеку от режиссерского столика, записывала что-то в тетрадь, изредка издавая восклицания восхищения – негромкие.

Тут пришла пора объясниться. Причина моей неприязни, которую я пытался дурацким образом скрыть, заключалась отнюдь не в пледе или калошах и даже не в Людмиле Сильвестровне, а в том, что Иван Васильевич, пятьдесят пять лет занимающийся режиссерской работою, изобрел широко известную и, по общему мнению, гениальную теорию о том, как актер должен был подготовлять свою роль.

Я ни одной минуты не сомневаюсь в том, что теория была действительно гениальна, но меня привело в отчаяние применение этой теории на практике.

Я ручаюсь головой, что, если бы я привел откуда-нибудь свежего человека на репетицию, он пришел бы в величайшее изумление.

Патрикеев играл в моей пьесе роль мелкого чиновника, влюбленного в женщину, не отвечавшую ему взаимностью.

Роль была смешная, и сам Патрикеев играл необыкновенно смешно и с каждым днем все лучше. Он был настолько хорош, что мне начало казаться, будто это не Патрикеев, а именно тот самый чиновник, которого я выдумал. Что Патрикеев существовал раньше этого чиновника и каким-то чудом я его угадал.

Лишь только дрыкинская пролетка появилась у театра, а Ивана Васильевича закутали в плед, началась работа именно с Патрикеевым.

– Ну-с, приступим, – сказал Иван Васильевич.

В партере наступила благоговейная тишина, и волнующийся Патрикеев (а волнение у него выразилось в том, что глаза его стали плаксивыми) сыграл с актрисой сцену объяснения в любви.

– Так, – сказал Иван Васильевич, живо сверкая глазами сквозь лорнетные стекла, – это никуда не годится.

Я ахнул в душе, и что-то в животе у меня оборвалось. Я не представлял себе, чтобы это можно было сыграть хоть крошечку лучше, чем сыграл Патрикеев. «И ежели он добьется этого, – подумал я, с уважением глядя на Ивана Васильевича, – я скажу, что он действительно гениален».

– Никуда не годится, – повторил Иван Васильевич, – что это такое? Это какие-то штучки и сплошное наигрывание. Как он относится к этой женщине?

– Любит ее, Иван Васильевич! Ах, как любит! – закричал Фома Стриж, следивший всю эту сцену.

– Так, – отозвался Иван Васильевич и опять обратился к Патрикееву: – А вы подумали о том, что такое пламенная любовь?

В ответ Патрикеев что-то просипел со сцены, но что именно – разобрать было невозможно.

– Пламенная любовь, – продолжал Иван Васильевич, – выражается в том, что мужчина на все готов для любимой, – и приказал: – Подать сюда велосипед!

Приказание Ивана Васильевича вызвало в Стриже восторг, и он закричал беспокойно:

– Эй, бутафоры! Велосипед!

Бутафор выкатил на сцену старенький велосипед с облупленной рамой. Патрикеев поглядел на него плаксиво.

– Влюбленный все делает для своей любимой, – звучно говорил Иван Васильевич, – ест, пьет, ходит и ездит...

Замирая от любопытства и интереса, я заглянул в клеенчатую тетрадь Людмилы Сильвестровны и увидел, что она пишет детским почерком: «Влюбленный все делает для своей любимой...»

– ...так вот, будьте любезны съездить на велосипеде для своей любимой девушки, – распорядился Иван Васильевич и съел мятную лепешечку.

Я не сводил глаз со сцены. Патрикеев взгромоздился на машину, актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный ридикюль. Патрикеев тронул педали и нетвердо поехал вокруг кресла, одним глазом косясь на суфлерскую будку, в которую боялся свалиться, а другим на актрису.

В зале заулыбались.

– Совсем не то, – заметил Иван Васильевич, когда Патрикеев остановился, – зачем вы выпучили глаза на бутафора? Вы ездите для него?

Патрикеев поехал снова, на этот раз оба глаза скосив на актрису, повернуть не сумел и уехал за кулисы.

Когда его вернули, ведя велосипед за руль, Иван Васильевич и этот проезд не признал правильным, и Патрикеев поехал в третий раз, повернув голову к актрисе.

– Ужасно! – сказал с горечью Иван Васильевич. – Мышцы напряжены, вы себе не верите. Распустите мышцы, ослабьте их! Неестественная голова, вашей голове не веришь.

Патрикеев проехался, наклонив голову, глядя исподлобья.

– Пустой проезд, вы едете пустой, не наполненный вашей возлюбленной.

И Патрикеев начал ездить опять. Один раз он проехался, подбоченившись и залихватски глядя на возлюбленную. Вертя руль одной рукой, он круто повернул и наехал на актрису, грязной шиной выпачкал ей юбку, отчего та испуганно вскрикнула. Вскрикнула и Людмила Сильвестровна в партере. Осведомившись, не ушиблена ли актриса и не нужна ли ей какая-нибудь медицинская помощь, и узнав, что ничего страшного не случилось, Иван Васильевич опять послал Патрикеева по кругу, и тот ездил много раз, пока, наконец, Иван Васильевич не осведомился, не устал ли он? Патрикеев ответил, что не устал, но Иван Васильевич сказал, что видит, что Патрикеев устал, и тот был отпущен.

Патрикеева сменила группа гостей. Я вышел покурить в буфет и, когда вернулся, увидел, что актрисин ридикюль лежит на полу, а сама она сидит, подложив руки под себя, точно так же, как и три ее гостя и одна гостья, та самая Вешнякова, о которой писали из Индии. Все они пытались произносить те фразы, которые в данном месте полагались по ходу пьесы, но никак не могли двинуться вперед, потому что Иван Васильевич останавливал каждый раз произнесшего что-нибудь, объясняя, в чем неправильность. Трудности и гостей, и патрикеевской возлюбленной, по пьесе героини, усугублялись тем, что каждую минуту им хотелось вытащить руки из-под себя и сделать жест.

Видя мое изумление, Стриж шепотом объяснил мне, что актеры лишены рук Иваном Васильевичем нарочно, для того, чтобы они привыкли вкладывать смысл в слова и не помогать себе руками.

Переполненный впечатлениями от новых удивительных вещей, я возвращался с репетиции домой, рассуждая так:

– Да, это все удивительно. Но удивительно лишь потому, что я в этом деле профан. Каждое искусство имеет свои законы, тайны и приемы. Дикарю, например, покажется смешным и странным, что человек чистит щеткой зубы, набивая рот мелом. Непосвященному кажется странным, что врач, вместо того чтобы сразу приступить к операции, проделывает множество странных вещей с больным, например, берет кровь на исследование и тому подобное...

Более всего я жаждал на следующей репетиции увидеть окончание истории с велосипедом, то есть посмотреть, удастся ли Патрикееву проехать «для нее».

Однако на другой день о велосипеде никто и не заикнулся, и я увидел другие, но не менее удивительные вещи. Тот же Патрикеев должен был поднести букет возлюбленной. С этого и началось в двенадцать часов дня и продолжалось до четырех часов.

При этом подносил букет не только Патрикеев, но по очереди все: и Елагин, игравший генерала, и даже Адальберт, исполняющий роль предводителя бандитской шайки. Это меня чрезвычайно изумило. Но Фома и тут успокоил меня, объяснив, что Иван Васильевич поступает, как всегда, чрезвычайно мудро, сразу обучая массу народа какому-нибудь сценическому приему. И действительно, Иван Васильевич сопровождал урок интересными и назидательными рассказами о том, как нужно подносить букеты дамам и кто их как подносил. Тут же я узнал, что лучше всего это делали все тот же Комаровский-Бионкур (Людмила Сильвестровна вскричала, нарушая порядок репетиции: «Ах, да, да, Иван Васильевич, не могу забыть!») и итальянский баритон, которого Иван Васильевич знавал в Милане в 1889 году.

Я, правда, не зная этого баритона, могу сказать, что лучше всех подносил букет сам Иван Васильевич. Он увлекся, вышел на сцену и показал раз тринадцать, как нужно сделать этот приятный подарок. Вообще я начал убеждаться, что Иван Васильевич удивительный и действительно гениальный актер.

На следующий день я опоздал на репетицию и, когда явился, увидел, что рядышком на стульях на сцене сидят Ольга Сергеевна (актриса, игравшая героиню), и Вешнякова (гостья), и Елагин, и Владычинский, и Адальберт, и несколько мне неизвестных и по команде Ивана

Васильевича «раз, два, три» вынимают из карманов невидимые бумажники, пересчитывают в них невидимые деньги и прячут их обратно.

Когда этот этюд закончился (а поводом к нему, как я понял, служило то, что Патрикеев в этой картине считал деньги), начался другой этюд. Масса народу была вызвана Андреем Андреевичем на сцену и, усевшись на стульях, стала невидимыми ручками на невидимой бумаге и столах писать письма и их заклеивать (опять-таки Патрикеев!). Фокус заключался в том, что письмо должно было быть любовное.

Этюд этот ознаменовался недоразумением: именно – в число писавших, по ошибке, попал бутафор.

Иван Васильевич, подбодряя выходивших на сцену и плохо зная в лицо новых, поступивших в этом году в подсобляющий состав, вовлек в сочинение воздушного письма юного вихрастого бутафора, мыкавшегося с краю сцены.

– А вам что же, – закричал ему Иван Васильевич, – вам отдельное приглашение посылать?

Бутафор уселся на стул и стал вместе со всеми писать в воздухе и плевать на пальцы. По-моему, он делал это не хуже других, но при этом как-то сконфуженно улыбался и был красен.

Это вызвало окрик Ивана Васильевича:

– А это что за весельчак с краю? Как его фамилия? Он, может быть, в цирк хочет поступить? Что за несерьезность?

– Бутафор он! Бутафор, Иван Васильевич! – застонал Фома, а Иван Васильевич утих, а бутафора выпустили с миром.

И дни потекли в неустанных трудах. Я перевидал очень много. Видел, как толпа актеров на сцене, предводительствуемая Людмилой Сильвестровной (которая в пьесе, кстати, не участвовала), с криками бежала по сцене и припадала к невидимым окнам.

Дело в том, что все в той же картине, где и букет и письмо, была сцена, когда моя героиня подбегала к окну, увидев в нем дальнее зарево.

Это и дало повод для большого этюда. Разросся этот этюд неимоверно и, скажу откровенно, привел меня в самое мрачное настроение духа.

Иван Васильевич, в теорию которого входило, между прочим, открытие о том, что текст на репетициях не играет никакой роли и что нужно создавать характеры в пьесе, играя на своем собственном тексте, велел всем переживать это зарево.

Вследствие этого каждый бегущий к окну кричал то, что ему казалось нужным кричать.

– Ах, Боже, Боже мой!! – кричали больше всего.

– Где горит? Что такое? – восклицал Адальберт.

Я слышал мужские и женские голоса, кричавшие:

– Спасайтесь! Где вода? Это горит Елисеев!! (Черт знает что такое!) Спасите! Спасайте детей! Это взрыв! Вызвать пожарных! Мы погибли!

Весь этот гвалт покрывал визгливый голос Людмилы Сильвестровны, которая кричала уж вовсе какую-то чепуху:

– О, Боже мой! О, Боже всемогущий! Что же будет с моими сундуками?! А бриллианты, а мои бриллианты!!

Темнея, как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну и думал о том, что героиня моей пьесы произносит только одно:

– Гляньте... зарево... – и произносит великолепно, что мне совсем неинтересно ждать, пока выучится переживать это зарево не участвующая в пьесе Людмила Сильвестровна. Дикие крики о каких-то сундуках, не имевших никакого отношения к пьесе, раздражали меня до того, что лицо начинало дергаться.

К концу третьей недели занятий с Иваном Васильевичем отчаяние охватило меня. Поводов к нему было три. Во-первых, я сделал арифметическую выкладку и ужаснулся. Мы репетировали третью неделю, и все одну и ту же картину. Картин же было в пьесе семь. Стало быть, если класть только по три недели на картину...

– О Господи! – шептал я в бессоннице, ворочаясь на диване дома, – трижды семь... двадцать одна неделя или пять... да, пять... а то и шесть месяцев!! Когда же выйдет моя пьеса?! Через неделю начнется мертвый сезон, и репетиций не будет до сентября! Батюшки! Сентябрь, октябрь, ноябрь...

Ночь быстро шла к рассвету. Окно было раскрыто, но прохлады не было.

Я приходил на репетиции с мигренью, пожелтел и осунулся.

Второй же повод для отчаяния был еще серьезнее. Этой тетради я могу доверить свою тайну: я усомнился в теории Ивана Васильевича. Да! Это страшно выговорить, но это так.

Зловещие подозрения начали закрадываться в душу уже к концу первой недели. К концу второй я уже знал, что для моей пьесы эта теория неприложима, по-видимому. Патрикеев не только не стал лучше подносить букет, писать письмо или объясняться в любви. Нет! Он стал каким-то принужденным и сухим и вовсе не смешным. А самое главное, внезапно заболел насморком. Когда о последнем обстоятельстве я в печали сообщил Бомбардову, тот усмехнулся и сказал:

– Ну, насморк его скоро пройдет. Он чувствует себя лучше и вчера и сегодня играл в клубе на бильярде. Как отрепетируете эту картину, так его насморк и кончится. Вы ждите: еще будут насморки у других. И прежде всего, я думаю, у Елагина.

– Ах, черт возьми! – вскричал я, начиная понимать.

Предсказание Бомбардова и тут сбылось. Через день исчез с репетиции Елагин, и Андрей Андреевич записал в протокол о нем: «Отпущен с репетиции. Насморк». Та же беда постигла Адальберта. Та же запись в протоколе. За Адальбертом – Вешнякова. Я скрежетал зубами, присчитывая в своей выкладке еще месяц на насморки. Но не осуждал ни Адальберта, ни Патрикеева. В самом деле, зачем предводителю разбойников терять время на крики о несуществующем пожаре в четвертой картине, когда его разбойничьи и нужные ему дела влекли его к работе в картине третьей, а также и пятой.

И пока Патрикеев, попивая пиво, играл с маркером в американку, Адальберт репетировал шиллеровских «Разбойников» в клубе на Красной Пресне, где руководил театральным кружком.

Да, эта система не была, очевидно, приложима к моей пьесе, а пожалуй, была и вредна ей. Ссора между двумя действующими лицами в четвертой картине повлекла за собой фразу:

– Я тебя вызову на дуэль!

И не раз в ночи я грозился самому себе оторвать руки за то, что я трижды проклятую фразу написал.

Лишь только ее произнесли, Иван Васильевич очень оживился и велел принести рапиры. Я побледнел. И долго смотрел, как Владычинский и Благосветлов щелкали клинком о клинок, и дрожал при мысли, что Владычинский выколет Благосветлову глаз.

Иван Васильевич в это время рассказывал о том, как Комаровский-Бионкур дрался на шпагах с сыном московского городского головы.

Но дело было не в этом проклятом сыне городского головы, а в том, что Иван Васильевич все настойчивее стал предлагать мне написать сцену дуэли на шпагах в моей пьесе.

Я отнесся к этому как к тяжелой шутке, и каковы были мои ощущения, когда коварный и вероломный Стриж сказал, что просит, чтобы через недельку сценка дуэли была «набросана». Тут я вступил в спор, но Стриж твердо стоял на своем. В исступление окончательное привела меня запись в его режиссерской книге: «Здесь будет дуэль».

И со Стрижом отношения испортились.

В печали, возмущении я ворочался с боку на бок по ночам. Я чувствовал себя оскорбленным.

– Небось у Островского не вписывал бы дуэлей, – ворчал я, – не давал бы Людмиле Сильвестровне орать про сундуки!

И чувство мелкой зависти к Островскому терзало драматурга. Но все это относилось, так сказать, к частному случаю, к моей пьесе. А было более важное. Иссушаемый любовью к Независимому Театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли. И вот тут подозрения мои перешли, наконец, в твердую уверенность. Я стал рассуждать просто: если теория Ивана Васильевича непогрешима и путем его упражнений актер мог получить дар перевоплощения, то естественно, что в каждом спектакле каждый из актеров должен вызывать у зрителя полную иллюзию. И играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена...

1936-1937

Примечания

1

Кафры – южноафриканские народы банту.

2

Жаль! (фр.)

3

Нет, это невозможно, но все дела! (фр).

4

С удовольствием! (фр).

5

Он играет! (фр).

6

Я привезу его (фр.).

7

Если это и неправда, то хорошо найдено (и/я.).